

О ругательном слове «гносеолог» и развитии науки под идеологическим давлением государства

<http://oralhistory.ru/talks/orh-1559>

27 марта 2013

Собеседник

Лекторский Владислав Александрович

Ведущий

Труфанова Елена Олеговна

Дата записи

Беседа записана 27 марта 2013 и опубликована 28 января 2014.

Введение

В первой беседе ученый рассказывает о детских и школьных годах, жизни в эвакуации, поступлении на философский факультет МГУ и своей многолетней работе в Институте философии АН СССР. Владислав Александрович подробно вспоминает всех бывших на его памяти руководителей Института философии, их отношение к новым идеям и молодым сотрудникам. Став заведующим сектором Института в брежневское время, он постоянно сталкивался с трудностями, защищая собственные научные интересы и интересы своих коллег от нападок доктринеров. Публикуемое интервью — живой и очень содержательный рассказ о том, как развивалась научная мысль под идеологическим спудом государства.

Беседа записана в рамках совместной исследовательской программы Института философии РАН и Фонда «Устная история».

Елена Олеговна Труфанова: Владислав Александрович, давайте начнем нашу беседу с самого начала, вспомним о вашем детстве.

Владислав Александрович Лекторский: (*Смеясь.*) Как вы родились?

Е.Т.: Да, как вы родились? В какой семье? Кем были ваши родители? Когда?

В.Л.: Как я родился, я не помню, но знаю, что это произошло 23 августа 1932 года. Что в это время было в нашей стране, в 1930-е годы, — сейчас об этом много пишут, но я был тогда маленький, ничего этого не помню. Стал особо помнить уже, когда мне было года четыре.

Кто мои родители? Мой папа — Лекторский Александр Иванович, он из города Карабаново Владимирской области нынешней, а тогда, в 1930-е годы, это была Ивановская область, он родился в этом городе. Фамилия у него интересная, часто мне задают вопрос, откуда такая фамилия. Его предки были в течение многих поколений священнослужителями.

” Был такой обычай в русской церкви, когда многие люди, которые учились в духовной семинарии, потом свои русские фамилии переводили на латинский язык. Скажем, был человек по фамилии Надеждин, он становился Сперанский, человек Доброхотов становился Беневоленским и т. д.

Кто-то, видимо, среди них был Чтецов, в церкви служил, дьячком, что-то читал, и этот Чтецов превратился в Лекторского, потому что *lector* — это по латыни, как известно, чтец. Этих людей было много, было много поколений, жили они в одном и том же месте Владимирской области. Я узнал, уже в более поздние годы, что в 34-м году вышел очередной номер журнала «Каторга и ссылка». В то время было Общество политкаторжан в СССР, они издавали журнал «Каторга и ссылка». Но поскольку политкаторжанами были народовольцы, эсеры, меньшевики, Сталин потом это общество разогнал, журнал запретил, а членов общества посадил. Но до какого-то времени журнал издавали, и вот мне достали журнал «Каторга и ссылка» за 34-й год, и там есть статья о протоирее города Муром Гаврииле Лекторском. Какой-то предок. Почему попала статья в этот журнал? Потому что он в начале XIX века где-то выступал с проповедью, высказался против крепостного права, и его сослали на Соловки, целое дело было заведено. Это вот к слову. Там было много таких людей, кто-то был расстрелян в годы Гражданской войны, кого-то в новомученики даже потом записали, уже лет двадцать—пятнадцать тому назад.

Это была большая семья. Отец моего папы (значит, мой дед по отцовской линии), Иван Михайлович его звали, — я его не знал, но по рассказам знаю о нем, — тоже кончил духовную семинарию, но не стал священником. Он поступил работать служащим на фабрику. В Карабаново была большая ткацкая фабрика, там он работал. Этот мой дедушка был женат два раза. У него была жена, которая умерла, были дети от первого брака, много детей. И потом он второй раз женился на матери моего папы. И он умер в 1914 году, в начале Первой мировой войны. А бабушка моя, папина мама, умерла в 1919 году, когда началась Гражданская война, был тиф, она от тифа умерла. Так что мой папа остался круглым сиротой в четырнадцать лет. Но братья, сестры его поддерживали. Он пошел работать на фабрику. Тяжелые годы были: Гражданская война, послереволюционные годы. И мой папа стал рабочим. Он окончил школу фабрично-заводского обучения. Такие были школы, некая ступень подготовки к поступлению в высшее учебное заведение. Потом он поехал в Москву и в конце 20-х годов поступил в педагогический институт, как он тогда назывался Московский государственный педагогический институт, и потом из этого института уже ряд нынешних выросло, МПГУ нынешний, может быть, Областной педагогический институт, но тогда он был один. И там мой папа стал учиться.

А мама моя была из той же Владимирской области, из деревни, вернее, из села, Мячково Александровского района. Город Александров, старинный город. Бывшая Александрова слобода,

где когда-то Иван Грозный отсиживался, когда поссорился с боярами. Историческое место. Монастырь там знаменитый Александровский, там и сейчас музей Грозного есть. А недалеко от города Александров, в двадцати километрах, находится большое село. Село — это значит церковь там была, если бы церкви не было, то просто бы деревня была. А это большое село, там была красивая церковь. Мама родилась там в крестьянской семье, было шестеро детей, всегда раньше было много детей. Там она училась в школе. Потом она в городе Александрове закончила педагогическое училище и преподавала в младших классах сельской школы. Только не в селе Мячково, а в другом каком-то селе. А потом тоже поехала в Москву, это конец 20-х годов — все хотели учиться. Поехала в тот же институт и там встретила папу. А он тогда уже учился там, на год или на два раньше поступал. И когда мама пришла в институт, он ее увидел и тут же сказал своему приятелю: «Это будет моя жена». Ну так оно и стало.

В общем, они поженились. Кончили они этот институт в начале 30-х годов и стали преподавать. Мама преподавала русский язык и литературу в одной из московских школ, папа пошел преподавать тоже, он пошел в школу имени ВЦИК, она впоследствии называлась Училище им. Верховного Совета, их называли еще «Кремлевские курсанты». В этом учебном заведении учили людей, которые как-то связаны были с охраной Кремля, особая была такая публика. И он там преподавал, поэтому он стал военным, и у него есть фотографии старые, до войны-то погонов не было, гимнастерки с петлицами были, у него один такой не кубик — а шпалой это называлось, капитаном он был, вот в таком звании.

Е.Т.: А преподавал он что?

В.Л.: Русский язык и литературу. Потом — я это не помню, мне еще было мало лет, но по рассказам знаю, — он поступил году в 38-м, может быть, в Институт красной профессуры. Такое учебное заведение, где люди должны были учиться, потом защищать диссертацию. Перед войной, по-моему, они уже должны были защищать диссертацию. Такое элитное учебное заведение было. Те, кто кончал эту школу, Институт красной профессуры, получали звание профессоров.

”

Но папа мой получить его не успел, он только-только начал там учиться, и всех, кто был в школе, всех профессоров посадили «в один присест», всю школу закрыли. Его взяли работать в ЦК ВКП (б), в аппарат. Это было перед войной.

Себя я помню с четырех-пяти лет, ходил в детский сад, потом поступил в школу в 40-м году, перед войной. Раньше в школу принимали с восьми лет, я в восемь лет туда поступил. Но до того как я в школу поступил, конечно же, я уже умел и читать, и писать, и какие-то рассказы даже сочинял.

Е.Т.: Вас родители учили читать и писать?

В.Л.: Вот я не помню, кто меня учил.

”

Честное слово, такое почему-то ощущение, что я взял букварь и начал читать, но, наверное, родители помогали. Никто меня специально не обучал, это я точно помню.

Но родители, видимо, как-то способствовали этому. Книг было много, поскольку родители связаны с литературой, языком, полно было всяких книг. Что-то я читал, но читал детские книги, конечно. Какие-то рассказы стал писать.

В 40-м году поступил в первый класс московской школы № 59, она и сейчас находится под тем же номером в Староконюшенном переулке, напротив канадского посольства. Это очень хорошая школа была. До революции это была знаменитая Медведниковская гимназия. И как ни странно, в 40-м году я поступил

учиться в эту школу, я и кончал ее потом, а некоторые преподаватели начинали работать в ней еще до революции. В то время я застал их, таких было не так много, один-два человека, но такие были. Остальные тоже были очень хорошими преподавателями. Я начал учиться в этой школе, кончил первый класс, и началась война. 41-й год, мне уже девять лет, не такой маленький, поэтому хорошо все помню. А папу в мае месяце 41-го года призвали на переподготовку в военный лагерь. Отправился он куда-то в лагерь, где-то тут, под Москвой, не так далеко, — нет, не под Москвой, а в Курской области. И он должен был из этого лагеря прибыть обратно 25 июня 41-го года. Но 22 июня началась война, и всех, кто был в лагере, сразу мобилизовали. Так он оказался в армии и был в ней с 41-го года, и всю войну он был в армии, в действующей армии. Был на 4-м Украинском фронте, прошел через Украину, Румынию, Болгарию, Югославию, Венгрию и Австрию. В Австрии война для него закончилась.

Е.Т.: До Берлина не дошел?

В.Л.: До Берлина не дошел. Кто до Берлина дошел? Это 1-й Белорусский, 2-й Белорусский фронт. А Украинский фронт, они южнее шли, с юга. Так что он в Австрии кончил войну, они через Польшу и Германию не шли, там они не воевали, они были южнее гораздо. Но из армии его не демобилизовали сразу. Поэтому еще год после окончания войны он был в армии, и из армии он уже вышел только в мае 46-го года. Потом он поступил учиться в Академию общественных наук при ЦК КПСС сразу после войны, после демобилизации. Тогда эту академию только что открыли. Кончил академию, работал в журнале «Коммунист» и до самой смерти преподавал в Высшей партийной школе. Вот, так сказать, его судьба такая.

Начало войны. Увлечение литературой

Что касается меня. Я поступил в московскую 59-ю школу, первый класс закончил — началась война. Мы с мамой поехали в село Мячково, к ней на родину, сто с небольшим километров от Москвы. Немцы уже подступали к Москве, и нас немцы не захватили, но немецкие самолеты, помню, летали, листовки сбрасывали.

Е.Т.: Страх какой-нибудь помните детский, с этим связанный?

В.Л.: Страх я не помню. Я был настолько все-таки маленький, что страха не ощущал. Я не представлял, что такое война, чем это грозит.

”

Я помню, когда 22 июня объявили по радио, что началась война, мы были на даче под Москвой, в Кратово, и моя двоюродная сестра, она старше меня, стала кричать: «Скоро немцев победим, установим нашу власть! Рабочие Германии нам помогут!» — вот такое было восприятие.

Люди не понимали, чем это все кончится. Но осенью 41-го года уже стало кое-что понятно, потому что немцы стали бомбить Москву, зарево этих бомбежек мы видели, каждый вечер можно было видеть оттуда, где мы жили в то время. Через наше село шли войска все время, а на восток шли люди, которые гнали скот: коров, овец. В общем, такая вот картина была, и это мы наблюдали. Еще как-то сразу в себя не пришли, а потом — конец 41-го года, 42-й, слава богу, под Москвой немцам нанесли поражение. Но холод был дикий, зима наступила, снегом все завалило.

Ходил учиться в школу, в сельскую. Учился в сельской школе я в течение двух лет, в 41—42-м году, второй-третий класс. Школа была неплохая, была большая комната, один учитель и два класса — первый и второй, кто-то во втором классе, кто-то в первом классе. Комната была поделена на две части: здесь сидят первоклассники, а в этой части — второклассники. Учитель что-то рассказывает первоклассникам,

дает им задание, мы слушаем, потом он переходит к нам, нам что-то начинает рассказывать. Вот так мы учились, одновременно преподаватель преподавал в двух классах. Но это ладно все, к этому можно было и привыкнуть. Но зима началась, холодно, — нужно школу топить, если не топить, тогда нельзя заниматься, а дров нет. Уже начались проблемы с дровами, питанием. (Потом немножко расскажу об этом.) Приходим в школу, а писали-то раньше не авторучками как сейчас, тем более не на компьютере работали, а писали пером. Такие были чернильницы, нужно было перо туда макать и выводить буквы. Приходим мы в класс, а чернила-то замерзли, сидим в шубах, в шапках, чуть ли не метель гуляет по классу. (Смеется.) Писать нечем.

” «Ну, ребята, замерзли чернила, давай по домам!» Вот мы так два года и учились, не столько учились, сколько мерзли.

Ну, ребята-то все довольные: можно не заниматься. Там чему-то учили, конечно же, но учили вот так. В общем, эти два года военных с дровами были проблемы, у нас дома тоже. Мы вот с вечера, когда спать ложились, натопим комнату, а когда утром встаем, все замерзло. Я помню, однажды встал — у меня волосы примерзли к подушке. Пошел умываться, а в умывальнике вместо воды — лед, умываться нельзя. Однажды, помню, выходил я из дома, чтобы идти в школу, а там такая была вьюга, и намело столько снега, что двери не открываются, на улицу выйти невозможно. Но в общем все это, когда сейчас рассказываешь — одно впечатление, а в то время, ну, сколько мне было, девять лет, все это казалось ерундой, даже вроде интересно: можно не ходить в школу. Нормально абсолютно.

Что касается питания, то хлеба, конечно, не было. Хлеб сами пекли. У бабушки была печка, была бы мука, но муки-то нет, муки не достать. Но как-то все же доставали, меняли на что-то, какие-то у нас вещи остались московские, мы привезли из Москвы, у кого-то выменивали на эти вещи муку.

” Поэтому мы какой хлеб пекли — половина картошки, половина муки. Вот эта перемешанная мука с картофелем, это основа хлебопечения была.

Магазинов, конечно, никаких не было, никаких карточек. В Москве все же были карточки. Потом, когда я в Москву переехал, я понял, что в Москве здорово, по карточкам тебе какой-то хоть минимум дадут. А там непонятно вообще: как хочешь, так и живи. Сахар что заменяло — летом можно было идти в лес, каких-нибудь ягод набрать, еще чего-нибудь, морковь, рябину мы осенью в лесу собирали, бабушка в печку ставила огромный чугунок с рябиной — она сладкой становится, оказывается. Рябина горечь свою теряет, когда в печке ее парят. Как-то можно было выходить из положения. А вот соль, чем соль-то заменить? Ничем не заменишь. Мама стала работать в колхозе сразу, иначе жить нельзя, во-первых, в колхозе хоть что-то немножко давали. Но, во-вторых, полагалось так: раз ты приехал, всех мужчин взяли на фронт, в селе мужчин нет, техники нет никакой, лошадей всех мобилизовали в армию, пахали на коровах, а приусадебные участки пахали на себе — впрягались в плуг, вместо, так сказать, тяглового скота. Соль выдавали нам иногда. В колхозе время от времени, тем, кто работает, выдавали не такую соль, как у нас сейчас, а такие черные глыбы каменные. Это, видимо, соль добывали из каких-то озер, ее не обрабатывали, просто отдавали нам в таком виде, мы молотили ее чем-то, молотком разрубали. Но, в общем-то, было ничего. Поскольку все так жили, никто же лучше не жил, вроде бы и ничего, нормально. И в школу я ходил, все более-менее одинаковые были. В общем, эти годы были по-своему даже интересными. Что-то надо было делать и на приусадебном участке. Были участки у каждого, и это тоже давало что-то. Мы на участке сажали знаете что? Да и не только мы, все сажали там рожь. Где муку-то достать? Сами сажали рожь.

Е.Т.: Потом куда-то молоть носили, да?

В.Л.: Да, у нас мельница была, в селе была мельница. Так что какая-то мука была. Ну как-то выходили из положения. Все жили, конечно, трудно. Это сейчас я понимаю. Тогда мне лет было так мало, что даже я и не понимал необычность ситуации. Вроде считал, что так и надо, нормальная жизнь. Поэтому сказать, что переживал — да нет, не было этого ничего. Главная проблема была, чтобы письма получать от папы, который на фронте был. Письма приходили время от времени, полевая почта.

Е.Т.: То есть вы с матерью вдвоем жили?

В.Л.: Нет. Была мама, я был, мамина сестра, нет, мамина сестра в Москву уехала, там она работала. Двое детей ее, мои двоюродные брат и сестра, были тоже. В общем, нас было четверо родственников и детей. Из взрослых была мама моя и бабушка. Дедушка мой, он был жив в начале войны, когда мы приехали, но в 42-м году он уже умер. Он был не такой старый, ему было всего семьдесят два года. Но началась война, тяжелая ситуация с продовольствием, голод. И он, видимо, не выдержал. Дедушка мой скончался в начале 42-го года. Он, конечно, работал в деревне. У них была семья трудовая, много детей, все всегда работали. Когда началась коллективизация, они вступили в колхоз. Тем более и папа, который в школе в это время преподавал, посоветовал, чтобы они это сделали, так что сделали все, что нужно. Хотя до этого они никакими кулаками не были, но жили ничего, все работали.



Были попытки как-то к деду прицепиться. Но тогда было такое распоряжение, что если кто-то из семьи в Красной Армии, то не трогать. И это тоже помогло.

Дед еще и сапожником сельским был, всем в округе чинил обувь всякую, сапоги. И иногда и деньги не брал, если скажут: «Ну нет у меня денег». — «Ну нет, и ладно». За что бабушка ругала его, конечно, потому что бесплатно на многих работал. Но он умер в 42-м году.

Бабушка жила, работала много, и она умерла уже лет в восемьдесят шесть, после войны. Жила всю жизнь она в селе. Потом уже, года за два до смерти, она все-таки в Москву переехала, жила у детей своих по очереди и скончалась она здесь, в Москве. А дед умер во время войны и похоронен там, и до сих пор там его могила есть на сельском кладбище. Когда я туда, в Мячково, иногда приезжаю, я хожу к нему на могилу.

Е.Т.: Бываете там вообще?

В.Л.: Бываю. Правда, в последние годы не был. Дело в том, что там есть мои родственники, живут в некоторых домах. А моя сестра родная Лена, она там живет летом. Мои родители там имели дом уже после смерти бабушки и дедушки. Каждый год они там были летом. Сейчас этот дом перешел сестре. Она его отремонтировала, и они там летом обычно бывают: она, ее муж, ее дочка. Иногда к ним туда езжу. Не так часто, но бываю.

Вот там прошло мое детство. Ну как детство, два года я там жил всего. В 43-м году я взмолился, сказал: «Мама, я ничего знать не буду, если здесь еще буду продолжать учиться». Я хотел учиться. Мне было интересно учиться, я книжек много читал. Все, что было в библиотеке сельской, я прочитал примерно за полгода.

Е.Т.: Какие книги помните из детства? Что вам больше всего понравилось?

В.Л.: Вот что я читал в 41—42-м годах. Мой интерес к литературе, может быть, не только у меня, любопытно развивался. Сначала это были какие-то детские книжки, которые были хорошими, кстати. До войны у нас были очень хорошие детские книжки. «Приключения Буратино» Алексея Толстого, якобы он сам написал, но он просто, видимо, переложил по-своему итальянскую историю эту. А потом была такая книжка «Волшебник изумрудного города» Некрасова (*Ошибка памяти: автор книги Александр Мелентьевич Волков; она написана в 1939 году. — Ред.*). На самом деле и Некрасов взял, как я потом

уже узнал, книжку американского автора Фрэнка Баума, он ее пересказал. «Волшебник из страны Оз» называется, по-моему, по-английски. Некрасов назвал «Волшебник изумрудного города». Ну, вот такие книжки. Лев Кассиль, стихи Барто, Маршака. Это хорошая литература.

Е.Т.: Классика наша детская советская.

В.Л.: Классика. Вот это я очень любил. А потом, когда я стал постарше, стал читать Жюль Верна, Виктора Гюго, помню, читал во втором-третьем классе. Потом очень мне нравились Майн Рид «Всадник без головы» и другие, Купер, вот эта американская приключенческая литература, «Шерлок Холмс». Западную литературу — это, наверное, с третьего и, пожалуй, до седьмого класса. А русскую литературу я для себя открыл уже в восьмом классе. Я только тогда понял, насколько это интересно. Пушкин, ну Пушкина я читал, конечно, и раньше, но плохо понимал. А вот Тургенев, Гоголь, как-то я поздно к этому пришел. Но когда пришел к этому, я понял, что это такое. Диккенса, я помню, читал во время войны, мне это нравилось, «Оливер Твист» и прочее.

Е.Т.: Какой-нибудь есть любимый писатель?

В.Л.: Сейчас? Или раньше?

Е.Т.: Из детства, который произвел наибольшее впечатление. Или какой-то герой, который вызывал у вас симпатию наибольшую?

В.Л.: В детстве, в это время, до восьмого класса по крайней мере, это такие романтические фигуры, о которых писали Джек Лондон, Купер. Все-таки западная литература от русской отличается. Русскую литературу, может быть, сразу ты и не освоишь, и она своеобразная. Я думаю, взрослым надо быть, чтобы ее понять. Это литература о маленьком человеке, обездоленных, оскорбленных, униженных. Она немножко депрессивная. А западная, она романтическая, такие герои, которые все преодолевают, трудности им ни по чем. Джек Лондон, Купер. Приключения всякие, герои, сильная личность. Вальтер Скотт, конечно, «Айвенго». Вот это было самое любимое. И когда в Москву потом приехал, тоже школа, шестой-седьмой класс. Русскую литературу не особенно я понимал тогда. Так, какие-то рассказы читал, Максима Горького, еще что-то. А русскую литературу стал понимать уже немного позже. Видимо, нужна какая-то определенная степень зрелости, и потом она своеобразная. Ну я про Достоевского и не говорю, и не каждый взрослый Достоевского, по-моему, оценит и поймет, даже сейчас. А тем более в этом возрасте. А сначала вот это вот. Но я не жалею об этом, я считаю, что это было хорошо, здорово.

Е.Т.: Думаю, большинство читающих детей начинают именно с этого.

В.Л.: Ну да. Аркадий Гайдар — это любимый был писатель. Я и сейчас считаю его великолепным писателем. Особенно для детей, для школьников, это такой заряд бодрости, духа.

Е.Т.: Да, «Тимур и его команда».

В.Л.: «Тимур и его команда», «Судьба барабанщика», ну что вы! У него великолепные вещи. Я бы и сейчас перечитал с удовольствием. Каверин, он «Два капитана» закончил после войны, но дело в том, что еще до войны первая часть вышла. Он тоже такой романтический автор. Но какую-то первую часть я читал, помню, еще до войны или где-то в конце войны, в эти годы. Но это такие писатели, я считаю, для юношества, для подростков это великолепные книжки. Они оптимизм внушают и вообще ориентируют тебя в жизни. И потом, они учат чему-то хорошему, добру и вере в то, что можно трудности преодолевать. Как это у Каверина было сказано: «Бороться и искать, найти и не сдаваться!» Вот такие вещи, это действительно мне нравилось ужасно. Если говорить о моих впечатлениях того времени, литературных, они с этим связаны.

Учеба в школе

А потом я приехал в Москву и снова поступил в ту же школу, в 59-ю, в которой начал учиться до войны,

уже в четвертый класс. Но это совсем другое дело, там другая школа, прекрасные учителя, как я уже рассказывал. Но школу-то я застал уже мужской. Когда я поступал в школу в 40-м году, она была смешанной, как и все школы в то время. В деревне тоже, конечно, не было деления на мужские и женские школы. А тут я пришел в мужскую школу, как-то необычно, непонятно. К тому же, начиная с пятого класса, у нас уже несколько учителей и классный руководитель. И вот приходит к нам классный руководитель, это пятый класс, году в 46-м, и говорит, что мы в мужской школе и должны знать правила поведения, как себя вести, эта традиция идет от гимназии классической, говорит, что называть он нас будет только на «вы». И это было так непривычно: вдруг нас на «вы» называют и по фамилии.

У нас был прекрасный классный руководитель. И тут появился мальчик такой в коротких штанишках, звали его Генрих Батищев. Вот так я познакомился с будущим известным философом, в одном классе мы с ним учились.

Е.Т.: Он пришел позже в вашу школу, получается?

В.Л.: Он пришел сразу в четвертый класс. И я в четвертый класс приехал. Я-то учился в этой школе до войны, а Генрих — нет. Дело в том, что его отец тоже в ЦК работал, деятель был партийный, философ. Я не знаю, где Генрих учился до войны, но они приехали к нам из Казани. Отец в Казани до этого работал. И вот их семья переехала в Москву в 43-м году. Отца взяли в аппарат ЦК ВКП (б), в отдел агитации и пропаганды. Кстати, отец Генриха Батищева какой-то пост там занимал. И Генрих стал ходить в нашу школу, я с ним подружился, и довольно близко, быстро. И жили мы неподалеку друг от друга. Я жил в Староконюшенном переулке, дом 19, недалеко от нашей школы, а он жил в переулке Сивцев Вражек, там и сейчас такой небольшой дом есть, хороший дом. И он меня стал домой приглашать. Тем более у меня папа был на фронте, он до конца войны был на фронте, все были заняты, все работали, и он меня приглашал домой. А у него дома отец днем работал, я его видел иногда, а мать была дома, в основном. И как-то мы с Генрихом много общались. И тогда, насколько я помню, первые интересы Генриха, будущего философа, никак не были связаны с философией. Он интересовался географией и меня вовлекал в это дело, а потом, когда нам в пятом классе начали преподавать химию, стал делать всякие химические опыты.

Е.Т.: (Смеется.) Дома?

В.Л.: Дома, да. Тогда ведь ситуация была такая, что хотя отец и занимал какой-то там пост в ЦК, почти все жили в общих квартирах, не было отдельных квартир. И мы тоже в Москве жили в общей квартире, у нас была комната, были соседи. И у него были соседи. Он выходил на кухню, какие-то там реактивы сливал и взрывы устраивал. (Смеется.)



И соседи вопили, милицию вызывали: «Он взорвет весь дом!». Ну, хулиганом его не назовешь, но так вот.

Е.Т.: (Смеется.) Научный подход!

В.Л.: Он эксперименты ставил, экспериментировал. Так что я его знал еще с этих пор.

Е.Т.: А вы дома экспериментов не ставили?

В.Л.: Нет, я экспериментов не ставил. Я увлекался другим. В это время, 43-й год, в кино часто ходил. Учились мы во вторую смену. Я вечером приду часов в семь из школы, за час уроки сделаю на завтра, а утром встану пораньше и иду в кинотеатр «Художественный». Там шли американские фильмы. Наши фильмы тоже были, но наших мало было. Американских фильмов в это время шло довольно много.

Е.Т.: Это уже голосовое или немое еще кино?

В.Л.: Ну нет, что вы. Кино звуковое с 33-го года существует, никаких немых фильмов мы никогда не видели. И шли фильмы классические, вроде «Серенады солнечной долины», был «Маугли»

великолепный, цветной кстати, английский, «Багдадский вор» и другие были фильмы.

Вот, хожу в кино, и в это время показали фильм американский «Три мушкетера». Он на всех ребят произвел сильнейшее впечатление, и все стали из дерева делать шпаги и на шпагах этих сражались. Вот тогда это было мне интереснее, чем все остальное. Могу сказать, что с Генрихом я был тесно связан, и он на меня оказал влияние. И тот факт, что я пришел в философию в конце концов, я думаю, с этим связано тоже.

”

Потому что где-то в классе седьмом, меня вдруг Генрих, мой друг, спрашивает: «А ты читал „Анти-Дюринг“?» Я думаю: какой «Анти-Дюринг»? «Ну как же, каждый образованный человек должен читать „Анти-Дюринг“!»

Да, в седьмом классе он, видимо, стал читать «Анти-Дюринг», наверное, отец подвиг его к этому. Я взял «Анти-Дюринг», мне тогда это не понравилось, я это все бросил, чепуха какая-то, подумал. Но начиная с восьмого класса, у меня интересы стали более ясно определяться. У нас были великолепные учителя по литературе, истории. Историю нам преподавала Вера Дмитриевна Сказкина, ее муж был известнейший академик Сказкин, специалист по истории средних веков, наш крупный ученый. Она была прекрасным преподавателем, блестяще нам историю преподавала, бесподобно. Литературу нам преподавали очень хорошо. Читали мы Толстого, Тургенева разбирали и даже Достоевского чуть-чуть. И все это меня увлекло, литература русская страшно увлекла меня. Белинского стал читать, статьи «О Пушкине», был я просто в восторге. Классе уже в восьмом-девятом. Потом я вдруг открыл для себя Писарева. Писарева никому не надо было читать, никто не рекомендовал, и сейчас-то Писарева не очень превозносят. А Писарев прекрасно писал, между прочим. Вот какие-то такие связанные с этим вещи стал читать. В девятом классе прочитал «Жизнь Клим Самгина», сколько там томов? Сейчас мало кто его читает. А «Самгин» — это, конечно, занудная немного вещь, но какие-то философские вопросы разбираются, это история русской интеллигенции. И я стал всем этим интересоваться. Это с одной стороны.

А с другой стороны — вышла книжка на русском языке Эйнштейна и Инфельда «Эволюция физики». Эта книжка популярно написана, очень хорошо. Не только об истории физики идет в ней речь, но на материалах истории физики делается попытка обсуждения вопросов: что такое пространство, время, такие философские сюжеты. Мне это понравилось, страшно все это увлекло. И физикой я хорошо занимался, математикой, мне это интересно было. И даже участвовал в математических олимпиадах, которые Московский университет проводил, в девятом-десятом классах. Я тоже стал философией интересоваться, и меня как-то к этому делу потихоньку стал привлекать Генрих. Он был блестящим математиком. В нашей школе он был лучшим учеником по математике. У нас преподаватель по математике был очень строгий человек, который пятерки почти не ставил, считал, что на пятерку только он один знает, а остальные выше четверки знать математику не могут. Генрих всегда получал пятерки, на олимпиадах математических занимал всегда первые места.

”

И когда наш преподаватель математики, когда мы уже кончали школу, узнал, что Генрих поступает на философский факультет, он был в ужасе и сказал: «Что вы делаете? Вы же блестящий математик, вы себя губите». Но Генрих его не послушал.

Поступление в МГУ. Преподавание логики в школе

И где-то к концу десятого класса я все-таки понял, что при всем моем интересе к точным наукам,

наверное, я должен пойти куда-то учиться по гуманитарной части. Я очень любил историю и решил поступать на исторический факультет в Московский университет. Там был День открытых дверей, весной 50-го года, когда я кончал школу, я туда пошел, и мне страшно понравилось. Я уже решился подавать туда заявление, а потом еще что-то подумал, поговорил с Генрихом. И Генрих говорит: нет, надо поступать только на философский факультет. Я под его влиянием подал заявление на философский факультет. Я кончал школу с золотой медалью, поэтому у меня было только собеседование, экзаменов я не сдавал.

Е.Т.: Даже экзаменов не сдавали?

В.Л.: Тогда да, если медаль, тогда не было экзаменов. Со мной поговорили, меня приняли. А Генрих кончил школу с серебряной медалью, почему — не знаю, он учился очень хорошо. И пошел на собеседование. По-моему, с серебряной медалью тоже не надо было сдавать экзаменов. Но его не взяли. Почему? Потом расскажу. И он тогда поступил на общеэкономический факультет Московского государственного экономического института и там год проучился. Поэтому получилось так, что когда я поступил в университет, я расстался на время с Генрихом. До этого мы с ним были вместе, в одном классе, ходили друг к другу домой, близко друг друга знали, а тут мы, так сказать, были разьединены. Он поступил в Московский экономический институт, а я на философский факультет МГУ. Дело в том, что, как я уже потом узнал, — тогда это было непонятно, но потом мне объяснили, — его отец, как я уже сказал, Степан Петрович Батищев работал в аппарате ЦК ВКП (б) в отделе агитации и пропаганды, и занимал там какой-то пост, сравнимый с тем, какой пост занимал тогда Федор Васильевич Константинов, будущий наш академик и директор нашего института. Старший Батищев и Константинов друг друга знали, вместе они и работали, примерно на одинаковых постах. А заведующим отделом агитации и пропаганды был Георгий Федорович Александров, академик. И он регулярно ходил к Сталину, даже каждую неделю, по-моему, и ему, Сталину, о чем-то докладывал, рассказывал о ситуации общей идеологической в стране, наверное, так я предполагаю. А дело в том, что однажды в 46-м году (или в 45-м, в конце войны) Сталин выступил с очередной речью, — он эти речи во время войны часто произносил. И он в этой речи, в каком-то контексте сказал фразу о великом русском народе, «народе Минина и Пожарского, Суворова и Кутузова, Плеханова и Ленина». Вдруг Плеханов — вождь меньшевиков — оказался рядом с Лениным поставлен. Идеологи наши официальные, работавшие в ЦК, стали думать о том, что Сталин зря ничего не говорит, у него каждая фраза глубинный смысл имеет. Если Сталин Плеханова поставил рядом с Лениным, значит, наверное, Плеханов не был таким плохим, как мы до сих пор предполагали, что-то у Плеханова хорошее, видимо, тоже было. Значит, надо слегка возвысить Плеханова. А Батищев-старший, Степан Петрович, он был специалистом по Плеханову, писал о Плеханове раньше. И вот Александров вызвал его и сказал: Степан Петрович, надо написать о Плеханове статью для журнала «Большевик», так назывался тогда орган ЦК. Степан Петрович Батищев сел и написал статью. Не то чтобы там была какая-то аллилуйя Плеханову, он писал и об ошибках его, но вместе с тем отметил, что «как философ Плеханов был интересный человек, марксист», ну какие-то у него заслуги были в этой области. И статья была опубликована в журнале «Большевик» в 46-м году. И вот в один прекрасный день вызывает Сталин Александрова для очередной беседы. Александров там ему что-то рассказал, и Сталин спрашивает Александрова: «Скажите, пожалуйста, товарищ Александров, а кто такой Батищев?». Александров не понял вопрос: «Ну как кто, это наш сотрудник, у нас работает в аппарате, в нашем отделе». — «Вы меня не поняли, товарищ Александров, вы мне скажите, он большевик или меньшевик?» Ничего себе вопросик! (Смеется.) Батищева старшего не посадили, слава богу, но выговор ему объявили партийный и выгнали из аппарата ЦК ВКП (б). И он, видимо, так это все пережил, что стал болеть после этого, и болел всю жизнь, у него был инсульт, инфаркт, еще что-то. Я же его помню и до этой истории, я к ним домой ходил.



Батищев-старший такой здоровый был мужик, крестьянский сын из Тамбовской губернии. А тут он стал сникший и больной, в основном лежал.

Но Батищева-старшего, слава богу, не посадили, а послали преподавать в Московский государственный

экономический институт на кафедру философии, где он и преподавал худо-бедно, в основном больше болел, по-моему, чем преподавал. К тому же, наверное, боялся, что за ним следят и записывают его лекции, боялся сказать лишнего слова. Вот это все я наблюдал, на моих глазах это было. И как я потом понял, конечно, на судьбе сына все это отразилось. В том отношении, что когда Генрих стал поступать на философский факультет, люди из руководства факультета все это знали про отца Генриха и решили пока не принимать Батищева-сына. Но Генрих Батищев проучился в экономическом институте один год, а через год ему удалось перевестись на философский факультет, это было уже в 51-м году, он перевелся на философский факультет, но от меня отстал на один год. Я его видел на факультете, но уже были мы на разных курсах. Я был на втором, он на первом. Поэтому я закончил факультет на год раньше Генриха, и наши судьбы снова сошлись только в 64-м году, когда он кончил философскую аспирантуру Московского государственного экономического института, и ему удалось попасть в наш институт. И помог ему, кстати, Федор Васильевич Константинов, который в это время был нашим директором и который хорошо помнил его отца.

А в школе другим нашим с Генрихом другом был Дима Авраамов, который потом стал секретарем Союза журналистов и главным редактором журнала «Молодой коммунист», а потом и доктором философских наук. Он тоже учился на философском факультете, мы с Авраамовым вместе поступили, а Батищев от нас отстал.

Е.Т.: То есть у вас из класса трое поступили?

В.Л.: Еще Виктор Ивановский был. То есть четыре человека из одного класса поступили на философский факультет, только Батищев отстал на год, а трое поступили сразу: я, Ивановский, Авраамов. В одном классе со мной учился такой Гоша Георгиев, он тоже хорошо учился, кончил с серебряной медалью нашу школу. Георгиев сейчас один из наших крупнейших биологов, он академик, занимается молекулярной биологией и академиком-секретарем отделения биологии РАН был даже. Я его вижу, когда бывают сессии академии.

Школа, в общем, необыкновенная у нас была. Преподавал у нас логику не кто иной, как Борис Владимирович Бирюков, нынешний известнейший логик и историк логики.

” Помню, это было в восьмом классе, вошел новый преподаватель, молодой, такой стриженный-бритый. Мы удивленно ахнули. «Меня зовут Борис Владимирович Бирюков, я буду у вас преподавать логику».

Дело в том, что сейчас логику в школе не преподают. А нам преподавали логику и психологию. Конечно, сталинские годы были мрачные, как нам сейчас ясно. Но нам преподавали логику и психологию по личному указанию товарища Сталина. Кстати, Сталин окончил духовную семинарию, их там логике учили, и он понимал, что такое логика.

И вот в 46-м году наш известный философ, профессор Асмус Валентин Фердинандович, который был беспартийным, что его и спасло, иначе давно бы уже посадили, которого всю жизнь ругали, критиковали за всякие ошибки, выступления, пришел домой. Вдруг раздается звонок часов в одиннадцать вечера, входят военные: «Товарищ Асмус?» — «Да». — «Следуйте за нами». Все, арестовали, решил Асмус. Надел пальто, и они куда-то поехали. В Москве темно в это время было, война уже, правда, кончилась, но огней нет. Они едут, едут, долго-долго, на машине везет его военный, куда-то привез: «Выходите».

” Какое-то здание, по коридору провели, Асмус вошел — большой зал, там сидят все члены Политбюро и министры, ходит там Сталин из стороны в сторону с трубкой и говорит: «Товарищ Асмус, расскажите им, что такое логика».

И Асмус стал читать лекцию по логике этой публике. (*Смеется.*) Рассказал, и потом говорит Сталин: «Вы поняли, что такое логика? Преподавать логику в средней школе!»

Е.Т.: «Спасибо, товарищ Асмус, до свидания, спокойной ночи», да? (*Смеется.*)

В.Л.: «Спите спокойно, дорогой товарищ». Его отвезли обратно. И вот нам стали преподавать логику, а поскольку не было учебников по логике, взяли старый учебник, дореволюционный, Челпанова, он был философ и психолог, но и о логике написал книжку. Довольно хорошую, кстати. И мы учились по дореволюционному учебнику Челпанова в 48-м году, представляете? Сейчас фильмы показывают о сталинских временах: ужас, всех сажали. Все это в самом деле было. Но было и другое: например, преподавали логику в средней школе, а наша школа была просто замечательной. А психологию нам преподавали на следующий год, по учебнику Теплова. Неплохо преподавали. А в соседнем классе...

Е.Т.: Это в каких классах? В старших уже, да?

В.Л.: В старших, это восьмой-девятый класс. А в соседнем классе, чуть попозже меня, учился будущий светила нашей логики, который сейчас широко известен, Виктор Финн. Мы были в одной школе, в одной комсомольской организации. Виктор Финн был активный комсомолец, а в будущем стал диссидентом. У Виктора был отец писатель, Константин Финн, он писал пьесы, довольно известные по тем временам. Так что в нашей школе ряд людей были как-то связаны с философией, логикой, и поступили многие на философский факультет МГУ.

Какие-то события того времени я могу объяснить даже сегодня. Вот представьте себе: я закончил школу в 50-м году, это время расцвета сталинизма. И можно подумать, что люди ходили, всего боялись, боялись что-то говорить. Это, конечно, было, но тогда я субъективно это так не воспринимал.

” Я помню, что за все годы учебы в школе имя Сталина ни разу не произносилось учителями, никто об этом не говорил.

В 48-м году была известная сессия Академии сельскохозяйственных наук, ВАСХНИЛ, где громили органистов-вейсманистов и прочих. А у нас был предмет «Основы дарвинизма». Блестящий преподаватель был, женщина пожилая, она еще в гимназии раньше преподавала, блестяще знала предмет. И вот, видимо, их, учителей, заставили что-то сказать о Лысенко, ведь мы потом должны были экзамены сдавать по этому предмету. Дело в том, что в те годы мы сдавали каждый год экзамены. Сейчас многие не могут этого понять, сейчас школьники сдают экзамены не так часто, а мы ежегодно, начиная с пятого класса, сдавали экзамены, нам вообще не давали жить спокойно в этой связи. Я всю жизнь экзамены сдавал. Нужно было, в частности, экзамен сдавать по основам дарвинизма в девятом классе, 49-й год. Наш преподаватель пришла на урок и говорит: «Вот, ребята, у вас еще вопрос будет по этой сессии ВАСХНИЛ, я вам не буду об этом рассказывать, возьмите газетку, почитайте и сами все поймете». Вот как можно было поступить, нам и о Достоевском что-то рассказывали, хотя в учебниках школьных его не было. То есть были учителя, конечно же, выдающимися людьми.

И, помню, что меня дико поразило, когда я поступил на философский факультет в 50-м году. Студенты, собрались праздновать 7 ноября 50-го года, мы только что поступили, собралась наша группа, а у нас был студент, который на факультет после работы в обкоме партии пришел, то есть был постарше, знал о жизни то, что мы не знали.

” И вот мы сели, что-то говорим, и вдруг он встает и предлагает выпить за здоровье товарища Сталина. Такая была дикость, у меня был шок!

У нас никогда этого не было, это не было принято ни в школе, ни тем более дома, нигде. А на факультете

славословия Сталина начались. К тому же, когда я на факультет поступил, только что вышла «гениальная» работа товарища Сталина «Марксизм и вопросы языкознания». И нам начали на всех лекциях эту работу цитировать, нам говорили преподаватели: теперь мы прозрели, мы по-новому все понимаем, начиная с логики и кончая чем угодно, диаматом, истматом и т. д. Это все началось, я столкнулся с этим, так сказать культом, уже в университете. До этого обходили все это. Учителя были хорошие, школа замечательная. Не нужно было все это дело. Ну, конечно, были советские газеты, где все это тогда писалось. Но газеты мы особо и не читали. А когда я поступил на факультет, конечно, мне казалось что философия — это интересно: вопросы, связанные с тем, что такое познание, жизненные смыслы и т. д. Я ждал, что мне сейчас все это разъяснят, ответят на мои недоумения. Когда я пришел на факультет, я хотя и не сразу, но понял, что это не то совсем, что я ожидал.

Учеба на первых курсах философского факультета

Е.Т.: А какие у вас на первом курсе первые предметы были по философии? С чего вы начали?

В.Л.: Во-первых, диалектический материализм, такой курс был большой, лекции и семинарские занятия. Лекции были странные какие-то, слушал я и не мог понять, о чем идет речь. Время от времени ссылки были на работу Сталина «гениальную», потом на работы Лысенко, тоже «гениальные». Вот такая ахинея. А потом были семинары. А семинары были такие, что наш преподаватель (потом я понял, спустя многие годы, что он был неплохой человек) вел себя так... Мы «Материализм и эмпириокритицизм» стали изучать, а этот студент, о котором я рассказывал, не хочу называть сейчас его фамилию, знал то, что мы не знали. И вот преподаватель наш приходит и говорит: товарищ NN (называет фамилию студента, который ранее работал в обкоме партии) все знает, пусть он вам расскажет, а я пока посижу и газетку почитаю. И вот преподаватель читает газету, а этот наш товарищ нам рассказывает про «базис», «надстройку», еще какую-то ахинею плетет. Мы слушаем, конечно, уши развесили. Не сразу все могли понять, потом стали понимать, что как-то все это не очень интересно.

У нас, конечно, были разные лекции, диамат читали, исторический материализм читали. Нужно сказать, что по историческому материализму у нас были блестящие семинары. Лекции были так себе, а семинары сначала вел В.Ж. Келле, но потом он уехал в Китай, его в Китай пригласили преподавать, и стал вести В.П. Калацкий. Он, по-моему, умер не так давно. Он был блестящий преподаватель. Истмат — это была такая дисциплина, догматическая довольно, и вообще всегда она такой была, а уж в те-то годы, сталинские, тем более. Калацкий как-то так умудрялся преподавать, что было даже интересно, какие-то вещи рассказывал нам неплохо. По логике странные лекции нам читал заведующий кафедры логики профессор В.И. Черкесов. Он лекции по формальной логике нам читал, а сам был сторонник не формальной логики, а диалектической (в его своеобразном понимании). Поэтому он нам излагал какой-то материал по формальной логике (фигуры силлогизма, виды суждения и т.д.), а потом в конце говорил, что это все не совсем ерунда, но это все же не то, а вот диалектика более глубоко эти вещи понимает. Это была вторая часть каждой его лекции. А третья часть лекции была посвящена разоблачению ошибок профессора Асмуса: «Вот Асмус, он и здесь ошибался!» Асмус нам не преподавал, хотя был на кафедре логики в то время. Однажды, помню, Черкесов читает нам очередную лекцию по логике, а пришел Асмус, тихо сел сзади. Черкесов дошел до своего любимого места критики профессора Асмуса, при Асмусе сказал об этом, Асмус посидел, послушал, тихо встал и так же тихо вышел. (*Смеется.*) Вот такие забавные эпизоды.

Некоторые были курсы совсем маразматические. У нас один из самых маразматических курсов был за все время учебы на философском факультете — это «история русской философии». Я-то сказал, что я пришел на факультет, потому что был потрясен в свое время Белинским, Писаревым, Чернышевского почитал, мне казалось все это интересным. И вдруг я узнал на философском факультете, что все эти люди: Белинский, Добролюбов, Чернышевский, Герцен, ужасно похожи друг на друга, никакой разницы между ними нет. Они все одинаковые абсолютно, потому что все они «подошли к диалектическому материализму и остановились перед историческим». Ленин в свое время написал статью, называется «Памяти Герцена», был какой-то юбилей Герцена, перед революцией. И Ленин написал статью «Памяти

Герцена». В этой статье он много чего написал, и в частности, такую фразу придумал: «Герцен вплотную подошел к диалектическому материализму и остановился перед историческим». То есть — подошел и остановился. Дальше почему-то не пошел.

Е.Т.: Не сделал самого важного шага.

В.Л.: И люди с кафедры «Истории русской философии» эту фразу Ленина сделали ключом к пониманию всей истории русской философии. И все эти так называемые революционные демократы были материалисты и диалектики. Черты материализма у них были, черты диалектики тоже, но якобы они никак не сумели одно с другим соединить. И вот черты диалектики у Чернышевского, черты диалектики у Добролюбова, и они все одинаковые оказались, на одно лицо. Они на самом деле были все разные, и довольно интересные даже. А их делали людьми одинаковыми и скучными.

” Скукота была дикая. Нам рассказывали о материалистической традиции русской философии, находили в XVIII веке какого-то Козельского, Аничкина, которые в изложении наших преподавателей были совсем не интересны. О Радищеве так же неинтересно рассказывали нам.

И, в общем, это был такой курс, который, кроме смеха, ничего не вызывал. Особенно когда мы уже стали кое-что понимать. А были тем не менее в эти годы некоторые курсы очень интересные, некоторые даже блестящие, я бы сказал. Нам неплохо преподавали историю западной философии: и античной, и Нового времени. Ойзерман читал историю марксизма, интересно читал, даже в эти годы, очень даже интересно.

Е.Т.: Это сколько лет Ойзерману было тогда?

В.Л.: Он 14-го года рождения, он нам читал в 54-м году спецкурс по «Критике чистого разума» Канта, только что Сталин умер. Он был тогда молодой, 40 лет. Он читал очень интересно. А потом, когда мы стали изучать историю современной западной философии, Мельвиль у нас вел курс, он немного занудливый человек, но зато заставлял читать философские тексты, вот это было хорошо. Приходилось слушать догматические курсы по диамату, истмату и так далее, отчего тошно становится. А Мельвиль нам говорил: вы уже, ребятки, почитайте Маха, почитайте Виндельбанда, чтобы знать, о чем они писали. Он, конечно, в лекциях критиковал этих философов. Но ведь когда читаешь настоящих философов, начинаешь понимать, что все в этих текстах не так глупо, что все это какой-то смысл имеет. И в общем-то это был способ приобщения к реальной философской проблематике. А потом, когда Ойзерман стал читать лекции по Канту, по Гегелю, это было интересно. Были блестящие лекции по психологии, которые нам читал Гальперин, известный наш психолог, классик, можно сказать, психологии. Он нам читал психологию в 52-м году, представляете? Читал лекции и вел семинары. Было страшно интересно. Потом только мы поняли, что он не просто лекции прекрасно читал, он был сам крупным нашим исследователем наряду с Леонтьевым, Лурия, вся эта наша блестящая психологическая плеяда.

Смерть Сталина. Новый этап жизни философского факультета

Гальперин сам вел семинары, при этом никогда не опаздывал, приходил вовремя. Помню случай: мы собрались в один прекрасный день на семинар, 5 минут, 10, 15 минут, а Гальперина нет. Мы сидим, ждем, а нашего преподавателя нет. Минут через двадцать он приходит и говорит: «Вы знаете, было сообщение, что товарищ Сталин при смерти». Вот это я помню, 5 марта 1953 года это было. Тогда сообщили, что Сталин в тяжелом состоянии, хотя, кажется, тогда Сталин уже умер, но власть не решилась сразу об этом сказать. Это был шок.

Е.Т.: Ну конечно, подготавливали, да? Что вроде в тяжелом состоянии.

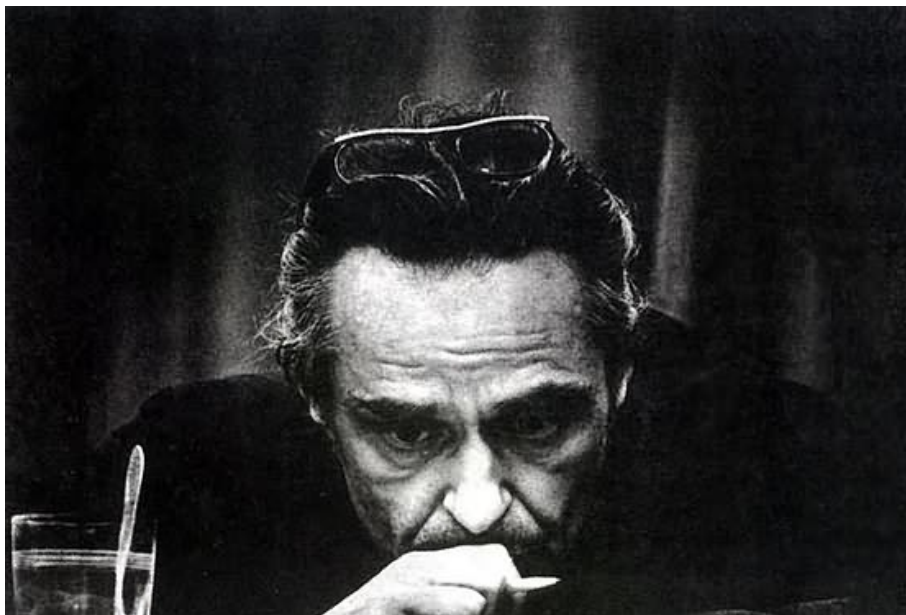
В.Л.: Да, потому что когда объявили о тяжелой болезни Сталина, все равно был шок, это я помню.

К Сталину, конечно, относились многие по-разному, но на похороны сколько людей-то пошло, передавали там очень многих.

У нас очень хорошо преподавал политэкономии капитализма молодой преподаватель с кафедры политэкономии экономического факультета МГУ по фамилии Мансилья, он был испанец. А уже в те годы на факультете целая плеяда появилась философов, которые писали о «Капитале» Маркса, пытались разрабатывать проблемы теории познания на материале «Капитала» Маркса. И вот по «Капиталу» Маркса Мансилья нам читал политэкономические лекции. Он был страшно популярным преподавателем. А потом, когда, как я узнал впоследствии, можно было вернуться в Испанию (Мансилья был из тех испанских детей, которых сюда привезли перед последней войной, когда целый пароход вывез испанских детей, и они попали в СССР, а уже гораздо позже, в 1970-е годы, Франко еще был в Испании, но он разрешил испанцам вернуться), Мансилья уехал в Испанию. Что там с ним стало, не знаю.

А уже в 53-м начался новый этап в нашей жизни на философском факультете, потому что появились молодые преподаватели с принципиально новыми идеями. Молодые тогда они были, а тогда они казались нам старыми. Одному из них было тридцать лет с чем-то, глубокий старик, по нашему тогдашнему пониманию (*смеясь*), звали его Ильенков. Он только что защитил кандидатскую диссертацию «Диалектика абстрактного и конкретного в „Капитале“ Маркса», так эта тема называлась. И вот он стал вести с нами спецсеминар по этой теме. Я даже стал старостой этого семинара, мы почитали его кандидатскую работу, она была в Горьковской, то есть в университетской библиотеке. Его диссертация разрывала связь с нашей традицией анализа проблем, теории познания и казалась не просто еретической, а какой-то странной. Не сразу я эти идеи принял, да и многие другие студенты (не говоря уже о преподавателях). Но потом-то я их принял, правда, через какое-то время. И когда я их принял, я стал не только их защищать, а пытался в этом духе дальше действовать. Через полгода после Ильенкова защитил кандидатскую диссертацию Зиновьев, тоже о логике в «Капитале», у него другой был подход к пониманию этих сюжетов. Но, в принципе, они на одном и том же материале все это делали. То есть только что умер Сталин, и уже начались новые веяния на философском факультете, это 53—54-й годы. Новые преподаватели — Ильенков, Зиновьев — смутьяны, так сказать, возмутители спокойствия. Щедровицкий там же появился, он с Зиновьевым как-то был связан, другие люди. И, в общем, началась новая жизнь. Когда в первые годы я занимался на философском факультете, писал курсовые работы, я не собирался заниматься теорией познания, философией науки. У меня были колебания между истматом и историей философии, может быть, историей философии стал бы заниматься. А когда появился Ильенков, я понял, что именно этим и стоит заниматься.

Е.Т.: То есть вас заинтересовала работа его, тема?



Эвальд Ильенков

В.Л.: Да, работа, идеи, подход и возможность философу заниматься какими-то серьезными вещами, именно философского порядка. Потому что у нас в те годы была такая мода: скажем, берут работы Лысенко и философский комментарий пишут к Лысенко или философские комментарии к каким-то новым явлениям в физике. Это тоже смысл имеет, но это не совсем философия. Мне тогда это казалось уходом немножко в сторону. А Ильенкова именно философская работа, проблематика новая по тем временам, такая, которой раньше у нас не занимались: что такое теория, структура теории, историческое и логическое, абстрактное и конкретное, логические приемы разные. И Щедровицкий этими же вещами стал в эти же годы заниматься. Мамардашвили объявился. Раньше я его не знал, он на год старше меня кончал факультет, и он был учеником Зиновьева первоначально. То есть там было два, так сказать, человека, которые группировали вокруг себя людей: Ильенков, вокруг него многие были: и я, и Батищев Генрих, который уже учился к этому времени на факультете.

Е.Т.: То есть вы с ним там снова встретились.

В.Л.: Да, он тоже к Ильенкову примыкал, его идеям был близок, и другие там люди были: Науменко, Межуев тоже, кстати, он на год меня моложе. Они все связаны с Ильенковым были. А другая группа людей вокруг Зиновьева группировалась: это Щедровицкий, Мамардашвили, Борис Грушин, — тоже все интересные люди, потом они сыграли важную роль в истории нашей философии.

И началась какая-то новая интересная жизнь, начиная с 53-го года. Когда я на эту тему размышляю, то до сих пор до конца не могу ответить на один вопрос. Дело в том, что Ильенков защищал свою кандидатскую диссертацию в сентябре 53-го года, то есть прошло всего полгода со дня смерти Сталина, но Ильенков же не за эти полгода свою работу написал. Он писал ее гораздо раньше, когда был жив Сталин и был расцвет сталинизма у нас. Казалось бы, какая свободная мысль может быть в эти годы, когда все задавлено, и задавлено, в общем-то, очень сильно? Сейчас нам кажется, что вообще в те годы было невозможно заниматься чем-то серьезным в философии. Значит, были какие-то люди, которые серьезно думали уже в это время, друг с другом встречались, обсуждали, спорили. 52-й год — это вообще самая мрачная была полоса в истории нашей страны, и тем не менее что-то делалось, вынашивалось некоторыми философами уже в то время. У Ильенкова руководителем был Ойзерман, и Ойзерман же был одним из оппонентов по работе Зиновьева. Кстати, Ойзерман сыграл в те годы очень важную роль в нашей жизни, он был заведующим кафедрой истории зарубежной философии, Ильенков

был аспирантом. И сам Ойзерман как раз прочитал нам в 54-м году революционный по тем временам спецкурс о теории познания Канта. До этого мы учили по Ленину, что Кант агностик и какой-то там непонятный идеалист, дуалист и материалист — агностик, в общем, плохой человек. Заклеймили у нас Канта.

Е.Т.: Не дошел до нужного шага?

В.Л.: Да, конечно, не дошел, и вообще нечего учиться у Канта. А Ойзерман нам показывал, что Кант великий мыслитель, и проблемы он ставил реальные, и до сих пор эти проблемы остались, их можно сейчас обсуждать и нужно обсуждать. Нам в курсе диалектического материализма какие-то вещи примитивные читали в те годы. А когда мы с таким материалом сталкивались, как тот, о котором Ильенков рассказывал на примере «Капитала», все было иначе понято. Или же то, о чем нам Ойзерман рассказывал. И мы начинали думать, что в философии все обстоит сложнее и интереснее, чем об этом нам до сих пор рассказывали. Официальная догма относительно понимания познавательного процесса была такая у нас в те годы — согласно Ленину: от живого созерцания к абстрактному мышлению и от него к практике — это якобы три ступени познания. Живое созерцание — это восприятие, потом мышление, из него вырастает почти автоматически практика: ты о чем-то подумал, а потом на практике это применил, все очень просто. А у Ильенкова получается совсем не то: абстрактное, конкретное. Конкретное в конце развертывания теоретической системы появляется, а в начале — то, что мы называем эмпирическим опытом, можно как абстрактное понимать в некотором смысле. Другая картина. А когда нам Ойзерман о Канте рассказывал, он говорил о кантовской идее: эмпирическое созерцание нагружено понятийными компонентами, без рассудка невозможен и опыт — это одна из основных идей Канта. Нам Ойзерман об этом и рассказывал, говорил, что так оно и есть в самом деле. Если у вас нет понятий, опыт полноценный невозможен. Это то, что потом стало известно из западной литературы по эпистемологии и философии науки, когда мы с ней позже познакомились. Это идея теоретической нагруженности эмпирического опыта. Но это же старая идея, идея кантовская. И тогда, в общем-то, мы об этом уже говорили. И Ильенков об этом писал тоже. Все эти вещи мы тогда обсуждали.

В общем, это было страшно интересно: новый этап жизни и радостные надежды, перспективы. И вот 54-й год, может быть, середина 54-го года, Ильенков и другой молодой преподаватель Коровиков (они все молодые были люди тогда), с той же кафедры истории зарубежной философии, написали «Тезисы о предмете философии». Вообще кафедра Ойзермана была тогда рассадником свободомыслия. Но кое-кто из возмутителей спокойствия вышел с кафедры логики: Зиновьев, Щедровицкий. Ильенков и Коровиков пришли к выводу о том, что надо понять иначе предмет философии. Только что умер Сталин, прошел только год после смерти, и не то чтобы свободомыслие какое-то было, но оттепель некая появилась, признаки оттепели. Еще не было XX съезда партии, Сталина никто официально не разоблачал, но людей уже потихоньку стали выпускать из лагерей. Насколько я помню, первые люди из лагерей стали выходить уже в 54-м году, хотя официально это нигде не было объявлено. Потом объявили официально об этом, но это было позже. И вообще что-то изменилось. Я помню, как в 54-м году произошла чудесная картина, особенно явно в 55-м, когда я факультет философский уже закончил, — кто-то мне сказал: иди в букинистический магазин, посмотри, что там продают. Я пошел и купил массу книг.

”

В букинистических магазинах стали продавать то, что раньше продавать не разрешалось. Я купил там Маха, Ницше, Бергсона, Кассирера, Виндельбана, Джеймса и др. Вот эту всю философскую литературу, которая до революции издавалась.

У меня до сих пор эти книги есть. И вот в этой новой ситуации (а она только начиналась) Ильенков и Коровиков (а Коровиков вел у нас семинары по истории марксистской философии, и вел очень хорошо, очень интересно, живой такой был человек) вдвоем написали «Тезисы о предмете философии». Смысл «Тезисов» такой: философия должна заниматься не просто наиболее общими законами природы, общества и мышления, как у нас официально тогда было принято думать, а теорией мышления, а в более

широком смысле — теорией познания. А в более узком смысле — теорией научного познания. Ссылка у них из классиков марксизма была на одно высказывание Энгельса. Энгельс в 90-е годы XIX века написал о том, что из всей прежней философии остается наука о мышлении: диалектика и логика. Ильенков и Коровиков у Ойзермана работали на кафедре, и Теодор Ильич договорился с ученым советом факультета о том, чтобы эти тезисы поставить на обсуждение. И эти тезисы поставили тогда на обсуждение ученого совета. Выступили Ильенков, Коровиков, что-то сказали. Я туда пошел, а я уже был студентом четвертого курса — или это было в начале пятого моего курса, не помню сейчас точно, но ближе к окончанию факультета. И начали эти тезисы обсуждать.

” Но это было не обсуждение, а осуждение. И такие вопли поднялись со стороны членов ученого совета: «Вы антимарксисты, ревизионисты, как же так, а что говорил Ленин, а вы что говорите!»

Ильенкову и Коровикову задавали вопросы некоторые. Надо сказать, что некоторые вопросы, которые были понятны в устах ортодоксальных философов того времени, и это были вопросы, на которые авторам этих тезисов было трудно ответить. Ну например такой: «А где же исторический материализм?» Ведь в марксизме самое главное — это учение о классовой борьбе, о диктатуре пролетариата, — говорили эти ортодоксы со ссылкой на Ленина.

Е.Т.: При чем тут мышление, теория мышления?

В.Л.: А это все выпадает, если считать, что философия должна заниматься только теорией познания. «Куда вы денете исторический материализм?» — первый вопрос. Второй вопрос: «Если философия — это теория познания, а для авторов тезисов она теория мышления, то где там ощущения? Одно мышление остается». Вот какие-то такие каверзные вопросы были.

Дело гносеологов

Е.Т.: Это то, что получило название «Дело гносеологов», да?

В.Л.: Да, сейчас я расскажу об этом. Я к этому вернусь, потому что сам попал в эту историю. И когда стали обсуждать тезисы Ильенкова и Коровикова, то я, студент четвертого курса или, может быть, пятого, я, конечно, был тогда наивным человеком, был устремлен в философию, науку. Я решил, что я понимаю: авторы тезисов правы, а «дураки», задающие им дурацкие вопросы, это не понимают. Я же должен высказать свое мнение по этому поводу, и я поднял руку и попросил дать мне слово. Я был единственным из студентов, который там осмелился выступить, видимо, нахальный был очень. Мне слово дали. Я защищал «Тезисы», доказывал, что там все обосновано, аргументировано. Эти обсуждения длились несколько дней, может быть, два или три заседания. Мало кто их защищал, авторов «Тезисов». Я помню, что Зиновьев защищал, хотя у них были разногласия с Ильенковым, но по этому пункту — понимание природы философии — Зиновьев защищал Ильенкова и Коровикова. Из Института философии АН СССР пришел человек, который был тогда стажером Института (приехал из Томска в Москву), по фамилии Копнин, тоже будущий известный философ. Защищал эти «Тезисы» Арсеньев, впоследствии он тоже стал известным, он тоже пришел из Института философии. А у авторов «Тезисов», кстати, получалось так, что понятие отражения куда-то исчезло. Я помню, что Арсеньеву, когда он выступал, задали вопрос: «Где у вас понятие отражения?». А Арсеньев ответил так (это в 54-м году!): «Вы знаете, Ленин писал об отражении тогда, когда писал работу „Материализм и эмпириокритицизм“, но тогда это была работа незрелого марксиста, а гораздо более зрелые работы Ленина — это „Философские тетради“, их и нужно читать, а понятия отражения лучше не касаться». Ну авторов «Тезисов» осудили, конечно. Члены ученого совета сказали, что все не так, как утверждают Ильенков и Коровиков, что все это ревизионизм. Но вместе с тем авторов «Тезисов» оставили на время в покое. Ильенков продолжал читать нам спецкурс свой, Коровиков нам преподавал, все было тихо. Я уже на пятый курс перешел, меня рекомендовали

в аспирантуру, тем более я хорошо учился по всем предметам, одни пятерки имел. И вдруг в начале 55-го года, за несколько месяцев до моего окончания факультета, какой-то преподаватель бдительный написал письмо в ЦК КПСС о том, что на философском факультете Московского университета завелись ревизионисты, смутьяны, которые, так сказать, пересматривают основные положения марксизма-ленинизма и не просто сеют смуту, а развращают молодежь.

Е.Т.: Почти как у Сократа обвинение звучит...

В.Л.: И в качестве примера молодежи, которую развратили, была моя фамилия названа. Я уже потом узнал, что какое-то было закрытое постановление ЦК в начале 55-го года о положении на философском факультете МГУ, и туда моя фамилия попала. Ильенков, Коровиков, само собой, там были названы, ну и я там оказался как пример студента, которого совратили ревизионисты. Но я тогда не знал об этом закрытом постановлении. Зато все узнали, что назначена комиссия ЦК по расследованию ситуации на философском факультете.

”

И комиссия ЦК сказала, что пятый курс философского факультета МГУ заражен ревизионизмом, поэтому с этого курса никого не надо принимать в аспирантуру. Вернее, приняли двух человек только, хотя сначала рекомендовали тридцать человек.

Е.Т.: Которые не «заражены» были?

В.Л.: Да, потому что кто-то из них выступил на дискуссии, не буду называть фамилии, он был хороший человек, он был постарше нас, поумнее, из армии пришел, выступил против «Тезисов», вот его взяли в аспирантуру. Еще одного взяли, который такую занял принципиальную позицию.

Е.Т.: Который промолчал?

В.Л.: Нет, не промолчал, а сказал что-то против Ильенкова и Коровикова. Из студентов. Я выступал в защиту «Тезисов» один. Остальные студенты молчали, кто-то выступил против. Последних и взяли в аспирантуру. Когда я кончал факультет и писал дипломную работу, моим руководителем был Ильенков. Он был руководителем и моей курсовой работы четвертого курса, и руководителем дипломной работы. Ильенкова и Коровикова выгнали с факультета, выгнали еще ряд преподавателей, которые им посочувствовали. Ильенкова взяли в Институт философии, и Саша Зиновьев туда же ушел. Им сказали, что могут в институте писать, но не преподавать, не заражать людей молодых. Пишите, мы посмотрим, что вы напишете.

Е.Т.: Ну понятно, мы посмотрим можно ли публиковать.

В.Л.: Да, а преподавать нельзя. Ильенкова взяли в институт, а я к нему домой ходил часто, мы с ним очень хорошо познакомились, подружились даже. Он меня на «ты» стал называть (а я — его), может быть, не в это время, а позже.

Е.Т.: На сколько он был вас старше?

В.Л.: Сейчас скажу, он с 24-го года, я с 32-го, значит, на 8 лет.

Е.Т.: Ну, это не так много, в общем-то.

В.Л.: Тогда казалось, что это очень много, а потом оказалось, что не так уж и много. И он мне сказал: «Ты не защитишь дипломную работу, если я останусь твоим научным руководителем, нужно срочно менять руководителя». Я говорю: «Где ж взять его?» Эвальд сказал, что поможет мне его найти, и он нашел. В то время, как раз где-то в марте 55-го года, на философском факультете на той же кафедре истории зарубежной философии появился новый преподаватель, для нас он был новый, но не для Ильенкова. Его звали Овсянников Михаил Федотович, будущий декан факультета. Ильенков его хорошо знал, поэтому

он мне его и посоветовал. А история его такая была: Овсянников преподавал на философском факультете в послевоенные годы. Он занимался Гегелем, был гегельянцем и занимался эстетикой. Был учеником знаменитого Лукача, — классика мировой философии.

Е.Т.: Венгерский философ, да?

В.Л.: Венгерский. Он жил долгое время в СССР, его сажали несколько раз: и в СССР, и в Венгрии. Правда, потом освобождали.

Е.Т.: Насколько я помню, он даже жил в здании Института философии.

В.Л.: Да, жил в здании Института философии, работал до войны в нашем институте. В скобочках замечу: когда один западный философ лет пятнадцать назад опрашивал философов в западном мире, кого они считают классиками философии XX века, больше всего получили голосов три философа: Хайдеггер, Витгенштейн и Лукач. Лукач — в чем-то учитель Сартра. Многие французские послевоенные экзистенциалисты на Лукача ссылаются.

Е.Т.: Хотя сейчас это имя не звучит особенно.

В.Л.: Сейчас его уже почти забыли. Раньше его знала вся интеллигенция западная, его знаменитая работа 1921 года «Пролетариат и овеществление сознания» считается классикой так называемого западного марксизма.

Е.Т.: А как он попал в Россию?

В.Л.: Он был другом Томаса Манна. А в Россию он попал вот как: он в Венгрии участвовал в революции в 19-го года, его там посадили, потом освободили, и в конце 20-х годов он в СССР приехал и работал в Институте Маркса и Энгельса сначала, а потом в Институте философии. Он 30-е годы здесь прожил и 40-е. А в 45-м году уехал снова в Венгрию, и Овсянников его провожал. Он мне рассказывал, когда Лукач уезжал, мало кто его провожал, Лукач был такая фигура полуподозрительная. А потом 47-й год, философская дискуссия известная, где заклеили книжку Александрова «История западной философии», и клеймили его в основном за то, что он некритически оценивает Гегеля, слишком уж положительно. И тогда же, во время этой дискуссии и после нее, распространяли устно одно высказывание Сталина, (это было высказано устно, нигде не опубликовано, но все знали, что именно Сталин так сказал).

” Сталин дал характеристику немецкой классической философии. Он сказал, что немецкая классическая философия была аристократической реакцией на французскую революцию и французский материализм.

Вот такая формула была. Ну и все стали говорить: «Вот, действительно, мы не понимали, чем была немецкая классическая философия, а теперь мы знаем». И на философском факультете в 1947 году стали обсуждать итоги философской дискуссии по книге Александрова. И выступил молодой Овсянников и сказал, что чепуха вся эта формула о немецкой классической философии. Ну как же так можно говорить? Хотя эта формула письменно нигде не была опубликована как сталинская, все знали, кому она принадлежит. Овсянникова выгнали из университета. Потом он в течение ряда лет преподавал в Московском областном педагогическом институте. А в 55-м году Ойзерман взял его на кафедру снова. И вот Овсянников Михаил Федотович оказался на этой кафедре, а Ильенков знал Овсянникова и как гегельянца (они, так сказать, по духу были близки), и как сотрудника кафедры. Ильенков позвонил Овсянникову и попросил, чтобы Овсянников согласился быть руководителем моей дипломной работы. И я по рекомендации Ильенкова поехал к Овсянникову.

Он жил в каком-то общежитии на Студенческой улице: длинный коридор, какие-то люди бегают, дети кричат, в маленькой комнатке такой. (*Смеется.*) Вот он тогда жил там. Я ему привез мою дипломную работу,

он взял ее. Он стал моим научным руководителем.

Дипломная работа. Распределение. Аспирантура

Е.Т.: А какая у вас была дипломная работа? О чем?

В.Л.: А о Марксе: «Понятие практики в ранних работах Маркса». Это 55-й год, ранние работы Маркса у нас только стали осваивать, а там есть интересные вещи, а по тем временам они были не вполне ортодоксальными. А у дипломной работы рецензент еще должен был быть. И этот рецензент тоже был очень хороший человек с этой же кафедры: молодой Леонид Пажитнов. И Овсянников, и Пажитнов мне дали прекрасные отзывы, я успешно защитил диплом, и даже с красным дипломом кончил факультет, несмотря на все перипетии. У Пажитнова тоже история трагически сложилась. Его впоследствии исключали из партии. Но это особый разговор, это произошло уже гораздо позже.

Ну, я защитил, слава богу. А ведь нужно где-то работать. А тогда философию не преподавали так широко, как потом.

Е.Т.: То есть она не была обязательной?

В.Л.: Нет, ее преподавали только в некоторых вузах обществоведческих: на экономических, исторических, филологических факультетах. В большинстве философию не преподавали, не то что экзамены кандидатские сдавать по философии — вообще не преподавали ее. И к тому же, чтобы преподавать философию, нужно было быть членом КПСС, каковым я не был, и к тому же ходил под подозрением как гносеолог.

Е.Т.: То есть это ругательство было такое?

В.Л.: Ругательство. Можно сказать, что «гносеолог» — это было хуже, чем буржуазный философ. Буржуазный философ как бы таким родился, а ты сам стал, гад, гносеологом. Учили тебя правильно, а ты сам свернул с верного пути. Это было страшно в то время. Вообще сложно, плохо было с распределением. И мне тогда дали оригинальное распределение. Я не мог от него отказаться, учитывая мою «подмоченную» репутацию. Меня направили работать экскурсоводом в город Егорьевск, в Краеведческий музей. Поехал в Егорьевск, а что оставалось делать?

Е.Т.: Это выпускника философского факультета?

В.Л.: Да, выпускника философского факультета с красным дипломом, пять лет там учился, и при этом на одни пятерки.



Вот тебе Егорьевск, води детей по залам. Там зарплата 30 рублей в месяц была в то время.

Е.Т.: И что интересного в городе Егорьевске?

В.Л.: Да ничего там интересного нет. Я сразу в музей, к директору. Она говорит, что мест нет, не знает, куда своих девать экскурсоводов. Я говорю: «Ну так напишите мне, что мест нет». Написала. Я приехал в Москву, и надо было куда-то устраиваться. Это очень сложно было, я полгода искал работу, а потом мне все-таки удалось с помощью друзей найти место, меня взяли на кафедру философии в тот самый Московский экономический институт, где Генрих Степанович Батищев учился один год и где преподавал философию его отец Степан Батищев.

Этот институт тогда существовал и даже процветал, а лет десять спустя после этого его слили с Плехановским институтом. Сейчас его нет. Он находился территориально рядом с Плехановским. До войны он назывался Плановым институтом. Там и работал отец Генриха Батищева, который к этому

времени, правда, уже ушел с кафедры — я только что туда пришел, а он ушел. Но там зато профессор Быховский, Бернارد Эммануилович, он был известный человек, в свое время работал в Институте философии Академии наук. Институт философии в 30—40-е годы успел подготовить и выпустить три тома «Истории западной философии», таких серых, неофициально именовались они «Серая лошадь». Это, кстати, было хорошее издание даже по нынешним временам. Там действительно есть детальное изложение истории философии. Там, конечно, критика идеалистов тоже есть, но в целом добротное излагается то, что известные философы думали: Аристотель, Платон, Гегель и др. За это издание даже дали Сталинскую премию. Редколлегия этого издания: Митин, Юдин, еще кто-то и Быховский. Именно Быховский, как мне рассказывали, на самом деле и готовил это издание. Он был завсектором истории западной философии Института философии в то время. В конце войны вышел третий том, и он был посвящен истории немецкой классической философии: Кант, Фихте, Гегель

Но когда в 47-м году в ЦК КПСС и прежде всего у товарища Сталина, возникло мнение, что немецкая классическая философия играла не столько положительную, сколько реакционную роль, было принято дополнительное решение по поводу этого издания. И по этому аппаратному решению Сталинская премия за третий том отнималась у тех, кто ее получил. За первые два тома премия действовала, а за третий — нет. Поэтому те, кто получил премию только за третий том, не имели права считаться лауреатами Сталинской премии.



Быховский был лауреат Сталинской премии за первые два тома, а не только за третий. Но после этого, году в 48-м его выгнали из Института философии, объявили ему выговор по партийной линии, поскольку якобы нашли у него старые троцкистские связи.

И вот он пришел преподавать на кафедру, где я потом оказался, где Батищев-старший до этого был.

Быховский читал курс лекций по диалектическому материализму для экономистов. И когда читал Быховский лекции (я ходил на две-три лекции его), он говорил без письменного текста, у него только маленькая бумажка была, он читал лекции как артист, настолько блестяще, что на его лекции ходили студенты других факультетов и других курсов. Тем, кому не нужно даже было сдавать экзамен по философии, ходили просто послушать Быховского.

Это был интересный человек, он знал кучу языков, на всех этих языках читал и говорил на многих. А что касается меня, мои обязанности были в том, что я как лаборант кафедры вел протоколы всех заседаний, на машинке их перепечатывал. Научился на машинке тогда печатать. Лекции, конечно, я не мог читать, преподавать не мог. Тем более, что слух о том, что я «гносеолог», как-то туда-то дошел. Такую техническую работу мне доверяли. Но зато за эти годы, за два года моей работы в Экономическом институте я сдал экзамены кандидатского минимума. Регулярно продолжал ходить к Эвальду Ильенкову.

Е.Т.: Вы не были в аспирантуре официально?



Александр Зиновьев

В.Л.: Нет, в аспирантуре я не был. Они хотели меня взять, но кто-то им не разрешил, отсоветовали. Я там два года работал. Ходил я не к Ильенкову домой, ходил и в Институт философии, ходил и к Саше Зиновьеву. А потом, через два года мне Ильенков сказал: «Поступай в аспирантуру к нам в институт». И я в 57-м году поступил в аспирантуру Института философии. Тогда заведующим сектором диалектического материализма был Копнин, о котором я уже говорил. Он защитил к этому времени докторскую диссертацию и стал заведующим сектором. У нас был один большой сектор, куда входили и логики, сектора логики тогда не было в институте. Была группа логиков как часть нашего большого сектора. А Ильенкову, хотя он защитил кандидатскую диссертацию в 53-м году, года три, наверное, не утверждали кандидатскую степень в ВАКе, поскольку он «Тезисы» написал, был человек подозрительный. Зиновьеву, по-моему, раньше утвердили кандидатскую степень в ВАКе, хотя Зиновьев защитил на полгода позже, чем Ильенков. И я помню, что Саша Зиновьев называл Ильенкова «кандидат в некандидаты», потому что могут-де и не утвердить кандидатскую степень. Вот такая была обстановка.

Пришел я в институт, сдал экзамены вступительные. А тогда был директором Института философии Федосеев Петр Николаевич, нашим заведующим сектором был Копнин, как я сказал. И был большой сектор, прекрасная была обстановка. В 57-м году Институт философии взял в аспирантуру всего трех человек во все сектора. В аспирантуру мало брали тогда, мало мест было. В аспирантуру взяли меня — в сектор диалектического материализма, второго человека взяли в наш же сектор, по фамилии Мочалов, я даже не знаю, жив он или нет, давно его не видел. Он потом стал известным специалистом по Вернадскому и работал в Институте истории естествознания и техники АН СССР, стал доктором наук, интересный был человек. А третий — Эдик Андреев, Эдуард Павлович Андреев, он поступил в аспирантуру в сектор философских проблем естествознания, занимался философией физики. Вот и вся аспирантура института 57-го года.

Аспирант должен был ходить каждый день в институт, каждый день. Дома работать нечего, работать нужно только в институте. Приходили, но места было не так уж и много. Институт философии тогда занимал всего один этаж в этом здании. Это сейчас мы все здание занимаем, а тогда в этом здании находились, кроме Института философии, Институт экономики и Институт всеобщей истории, внизу кафедры философии и внизу же находились какие-то лаборатории Центрального экономико-математического института.

Е.Т.: Институт философии где был? Наверху?

В.Л.: На пятом этаже. И места нет. Сотрудники тоже должны были каждый день ходить. И Ильенков, и Зиновьев ходили каждый день, и у каждого был свой стол.

Е.Т.: Ну, тогда сотрудников было меньше, чем сейчас?

В.Л.: Гораздо меньше. А где мне сидеть? На пятом этаже было книгохранилище, там его уже нет. В постсоветские годы, когда Степин был директором, книжки оттуда все вынули, потому что сдавали часть помещений фирмам зарубежным, и надо было какие-то помещения освободить. И книжки перебазировались на второй или третий этаж, где они хранились.

”

И вот было большое книгохранилище на пятом этаже, и в этом книгохранилище мне стол поставили, я в книгах сидел. Я должен был с утра до вечера там сидеть. А как можно работать в здании института, да еще в книгохранилище? Это было тяжело.

Потом вышло послабление в последующие годы, а в первые годы моего пребывания в институте вот так было. В последующие годы мы тоже должны были ходить каждый день в Институт философии, но люди находили всякие хитрые ходы. Нужно было, если ты не хотел сидеть целый день в институте, прийти к девяти часам, расписаться вовремя, — на лестнице уже стояли поверяющие, по часам следили, на сколько кто-то опоздал, на три минуты, на четыре. «Опоздал на три минуты», — писали прямо в тетрадь. А ты, придя в институт и расписавшись в прибытии, пишешь: «Ушел работать в Библиотеку им. Ленина», — и пошел туда, в библиотеку, там можно сидеть, работать. Дома-то нельзя было работать, можно было либо в институте, либо в библиотеке. А вечером снова нужно прийти к пяти часам и расписаться. Дикая вещь. И так продолжалось довольно долго. И местный комитет или профсоюз наш, они комиссию специальную создавали, чтобы проверять, где находится человек. Вот, скажем, он написал: «Пошел работать в Библиотеку им. Ленина», — рейд едет в Библиотеку им. Ленина. Помню, один наш товарищ, который сейчас жив, в другом месте работает, он полгода писал, что работает в Библиотеке им. Ленина, — пошли в Библиотеку им. Ленина проверять его: где у вас такой-то, сейчас посмотрим, — а он даже не записан в библиотеке. Он куда-то просто уходил. Пиво пил или домой к себе ходил. (Смеется.) Вот такая была история.

Конечно, бессмысленная вещь это была, когда заставляли нас там сидеть. Сейчас ходим мы два раза в неделю и дежуриим, и то по этому поводу некоторые возмущены. А тогда каждый день нужно было ходить. Странно конечно. У нас это дело отменил, знаете кто? Константинов. Когда он стал директором Института философии в 66-м году, он сказал: «Да зачем каждый день ходить, какой толк от того, что вы ходите? Вы продукцию выдавайте. Ведь можно сидеть и ничего не делать». Так, по-моему, и было, в общем-то. Придут некоторые сотрудники в институт, посидят, потом пойдут разговоры говорить, курить, пиво пить. Константинов отменил ежедневное присутствие в институте. И к тому же его поддержал академик Егоров, который был одно время секретарем Отделения философии и права АН СССР.

”

Он нас однажды собрал и сказал: «Ребята, мне самые лучшие идеи приходят в голову, когда я сижу в лесу или на берегу реки, смотрю на воду, а когда сижу за столом в институте, никаких идей не возникает».

В общем, какие-то послабления пошли в смысле ежедневного хождения в институт. А поначалу было сложно, поэтому я должен был ходить в институт регулярно, сидел, что-то писал, читал.

Е.Т.: А кто с вами одновременно в аспирантуре приблизительно в эти же годы был из наших нынешних

сотрудников? С кем вы начинали, скажем так?

В.Л.: Из людей, которые работали в те годы в институте, сейчас никого и не осталось. Знаете, кто остался? Буров Владлен. Он на год раньше, чем я, пришел в институт. Вскоре после моего прихода в институт пришла Нина Юлина, которая недавно скончалась. Из ныне работающих Мара Степанянц давно пришла, но позже меня, Теодор Ильич Ойзерман пришел в институт тоже позже меня, он многие годы руководил кафедрой зарубежной философии МГУ и пришел в Институт философии году в 65-м, может быть. Но из тех, кто уже был в институте, когда я пришел, в живых сейчас только Сачков Юрий Владимирович, но он в институт не ходит. Я иногда звоню ему домой, и Люся знает его хорошо, мы с ним перезваниваемся. Он себя плохо чувствует, поэтому он дома. А вот из тех, кто работает более-менее активно я никого и не знаю, все гораздо позже пришли.

О работе в Институте философии

Ведь я в институте с 57-го года, сколько лет, посчитайте.

Е.Т.: Причем без перерывов.

В.Л.: Без перерывов, да. В течение двадцати двух лет (1987—2009) я был в журнале «Вопросы философии» главным редактором, но на полставки оставался в институте. Мы все всю жизнь работаем на одном месте, что является большой редкостью. Не знаю даже, хорошо это или плохо. Может быть, по нынешним временам это и плохо считается.

Е.Т.: Не жалеете об этом?

В.Л.: Нет, не жалею. Потому что Институт философии менялся очень сильно, за все эти годы были разные этапы жизни института, и много чего там происходило. Нет, я не жалею. Люди были интересные. С самого начала, когда я пришел в Институт, в нем работали люди выдающиеся: Ильенков, Зиновьев и Толя Арсеньев здесь работал. Заведующим отделом философии естествознания был Иван Васильевич Кузнецов. Это был блестящий человек. Потом Омеляновский... Интересные были люди.

Е.Т.: А сколько тогда секторов было в институте? Ведь меньше?

В.Л.: Гораздо меньше. Я не помню, были ли тогда отделы. Может быть, даже отделов не было, были сектора. И секторов было несколько, скажем, был сектор диалектического материализма. То есть вот что сейчас наш отдел, это все был один сектор.

Е.Т.: То есть там же логика.

В.Л.: Никакой там не было эволюционной эпистемологии, социальной эпистемологии. Был отдел диалектического материализма и точка. Внутри была и логика. Даже не было сектора логики самостоятельного. Логике выделили самостоятельный сектор, не помню когда, довольно поздно, уже при Константинове, наверное. Много любопытного было. Например, когда академик Константинов был нашим директором, не было почему-то сектора истории зарубежной философии, он взял и ликвидировал его, сказал, что это не нужно.

Е.Т.: А ведь был сектор, как-то назывался, «Критика буржуазной философии»?

В.Л.: Был сектор критики современной буржуазной философии.

Е.Т.: Это то, что «История современной западной философии»?

В.Л.: Да. Был сектор критики современной буржуазной философии и была реферативная группа, группа товарищей, которые знали языки иностранные, которые читали философские тексты и готовили рефераты этих текстов.

Е.Т.: То есть кратко, о чем там?

В.Л.: Да, кратко, о чем говорится в этих текстах. Иногда полностью переводили тот или иной текст для служебного пользования. Это не издавалось, а распространялось в институте, особенно это было важно для тех, кто не знал иностранных языков или не знал некоторые языки. Потом эту реферативную группу слили с сектором критики буржуазной философии и этим сектором стала руководить Елена Дмитриевна Модржинская, такой, так сказать, воинствующий человек, который до этого работал в аппарате КГБ долгие годы. Чем она там занималась, я не знаю. Кто-то рассказывал, что она была даже резидентом, однажды в какой-то стране жила.

Е.Т.: Если иностранный язык она знала хорошо, то, видимо, да.



Карикатура А.А. Зиновьева: "Философ Е.Д. Модржинская на пути на международный конгресс", 1956 год

В.Л.: Она знала несколько языков, но не знала философии совершенно, абсолютно. И она просто привыкла всех разоблачать. Она стала заведующей сектором этим, а там уже появились интересные люди, которые серьезно пытались заниматься современной зарубежной философией (Дробницкий и др.). И у них на каком-то этапе начался конфликт с Модржинской, а Модржинская доносы в основном писала на всех. И сотрудники этого сектора пошли к Константинову, тогдашнему директору института, и как ни странно, Константинов, когда он был директором нашим (он был директором в 64—67-м годах), занял сторону этих молодых людей, и он Модржинскую снял с заведования сектором. И заведующим сотрудники сектора попросили сделать Митрохина. Митрохин стал заведующим, и они в этом секторе интересные книги стали делать. Когда Теодор Ильич Ойзерман пришел в наш институт, не было сектора истории философии, и он одно время работал в этом секторе под руководством Митрохина. Митрохин

был начальником его. Вот такая была история.

А вот про Модржинскую. У меня с ней кое-что связано. Я узнал, что она в 69-м году, когда Копнин стал директором института, написала в КГБ письмо с требованием арестовать десять человек в институте, от которых, так сказать, смута идет, начиная с директора Копнина. Я был включен в этот список, там были и Володя Смирнов (наш известнейший логик), и Саша Зиновьев, и Эвальд Ильенков, и другие.

Е.Т.: Все известные фамилии.

В.Л.: Мой канадский друг Дэвид Бэкхерст, которого вы знаете, он про Ильенкова книжку написал, сейчас новый текст пишет про Ильенкова, мне рассказывал новые для меня факты о Модржинской. Дэвид прочитал мои воспоминания, беседу с Митрохиным, где мы слевой о Морджинской говорим. И Дэвид мне письмо прислал недавно: «А не та ли это самая Модржинская, которая работала в аппарате НКВД и была экспертом по делу „кембриджской пятерки“?». Вы знаете, в Англии была такая шпионская группа, пять шпионов наших советских, «кембриджская пятерка», там были Филби, Берджес и другие. Я говорю Дэвиду: «Первый раз об этом слышу, откуда ты это взял?». Оказывается, об этом есть на каком-то сайте в интернете, Дэвид мне прислал адрес этого сайта. Я на этот сайт вышел, и на самом деле там есть фотография Модржинской нашей, точно. Кстати, все те люди, которые входили в «кембриджскую пятерку», были люди идейные, вот что самое интересное, они не за деньги работали. Они из каких-то семей чуть ли не аристократических были. Идейно работали в пользу Советского Союза. А Модржинская написала, оказывается, докладную записку. Она заподозрила, что эти люди двойники: делают вид, что работают на нас, а на самом деле работают на английскую разведку.

Е.Т.: И вашим, и нашим. Двойные агенты.

В.Л.: И Модржинская подала в КГБ такую записку. Эту записку там изучали, но пришли к выводу, что никакие эти люди не двойники, что они в самом деле были нашими разведчиками. И вот эта Модржинская стала завсектором в нашем институте, но потом, как я уже сказал, ее свергли.

Константинов был директором в 65—67-м годах, он ушел с этого поста в конце 67-го. Это были годы вскоре после снятия Хрущева, и это было и относительно либеральное время. И Константинов, который на самом деле был ортодокс железный, вел более-менее либеральную политику и в ряде вопросов поддерживал молодежь в критике со стороны этой молодежи старых догматиков. Поэтому он помог Морджинскую свергнуть с поста заведующего сектором. Модржинская не могла этого пережить, поэтому она искала всякие поводы, чтобы пакость сделать Дробницкому, Ильенкову или еще кому-то из близких им людей.

Защита кандидатской диссертации

А потом и у нас в секторе начались волнения. Я кончил аспирантуру в 59-м году, потом защитился, не сразу после окончания аспирантуры, а в 63-м.

Е.Т.: А научным руководителем у вас кто был?

В.Л.: У меня был Таванец руководителем. Петр Васильевич был заведующим сектором логики. Но он руководителем был во многом формальным, потому что я в основном на Ильенкова опирался. Но Таванец ко мне хорошо относился.

Е.Т.: И у вас была диссертация, посвященная проблеме субъекта, да?

В.Л.: Проблема субъекта—объекта, да. И наша молодежь, в том числе и Генрих Батищев, который в это время пришел работать в наш сектор, они были недовольны руководством нашего сектора. Не было даже руководителя сектора одно время, кто-то временно исполнял эти обязанности. Сотрудники сектора ходили к Константинову, без меня, правда. И тогда Константинов принял такое решение: он сделал заведующим сектором профессора Розенталя, а Розенталь работал в это время Академии общественных наук при ЦК КПСС, там была основная его работа. Он согласился на полставки нашим сектором

руководить, а меня сделал заместителем. Но заместителем я не очень-то хотел быть. Неохота было организационной работой заниматься. Особая здесь ситуация была еще и в том, что Розенталь болел все время. И когда какие-то вопросы, связанные с сектором, возникали, или когда нужно было сектор где-то представлять, я выступал как представитель сектора, Розенталь на это меня уполномочил.

Вот, например, такая ситуация возникла в начале 69-го года. Уже Копнин был директором нашего института. Идет заседание в ЦК КПСС, ведет его заведующий отделом науки товарищ Трапезников (сталинист закоренелый), и пригласили на заседание Копнина, секретаря партийного бюро Смирнова Владимира Александровича, заведующих секторами, и я тоже туда попал, потому что я был заместителем у Розенталя, а сам Розенталь не мог участвовать в заседании.

” И вдруг Модржинская берет слово и говорит: «Вы знаете, наша страна с помощью наших войск только что пресекла контрреволюционную деятельность в Чехословакии, а ведь такая же деятельность возможна и у нас. Сейчас назревает такая ситуация, что какие-то люди могут выйти на улицы с контрреволюционными идеями».

Е.Т.: «И мы знаем фамилии этих людей!»

В.Л.: «И мы знаем их фамилии. Только что в США вышла книга о марксизме-ленинизме под редакцией известного советолога, заклятого врага Советской власти Лобковица, или Лобковича Николая, и в этой книге помещена статья Ильенкова «О проблеме отчуждения». В этой статье Ильенков, сотрудник нашего Института философии, пытается доказать, что отчуждение, о котором Маркс писал в свое время в связи с анализом капитализма, есть якобы не только при капитализме, но и при социализме. Как вообще возможно писать такие тексты?» Все сидят, глаза вылупили, Трапезников ничего не понимает в отчуждении, но понимает, что какая-то там контра скрывается. Копнин ничего не знает об этой статье, Смирнов тоже, а Константинов, который перестал быть директором Института философии и стал академиком-секретарем, повел атаку против Копнина: ведь Копнин занял место директора, и если Константинов раньше, когда сам был директором, даже молодежь поддерживал, то, уйдя из Института, повел атаку на институт, на Копнина и на талантливых сотрудников института. Константинов подтвердил: «Да-да, Елена Дмитриевна права». Я понял, что дело плохо, пишу записку Трапезникову: «Дайте мне слово». Он мне дал слово через какое-то время. Я встал и сказал, что Елена Дмитриевна Модржинская ничего не понимает ни в философии, ни в марксизме, статью Ильенкова я читал (я действительно ее читал), статья совершенно марксистская, все там правильно, и при том интересно. Все остальные молчат, статью они не читали, даже Константинов не читал. Трапезников, когда он делал заключение этого заседания, сказал, что товарищ Лекторский выступал, защищал своих приятелей, но надо еще разобраться, прав он или нет. А в это время Копнин стал директором и меня хотел сделать заведующим сектором, тем более что Розенталь сам ему подал заявление, что ему тяжело продолжать заведовать сектором и что он рекомендует меня в качестве заведующего. Тем не менее я стал заведующим сектором диалектического материализма в мае 69-го года, в этой связи в ЦК меня вызывали, потом еще куда-то, Федосеев тогда был вице-президентом Академии наук, он меня тоже приглашал на беседу. А состоялся потом ученый совет института в мае 69-го года, я не был членом совета, и мне рассказали, что когда Копнин внес предложение о том, чтобы меня сделать заведующим сектором, а тогда можно было, чтобы совет утвердил путем тайного голосования меня в этой должности, встала товарищ Модржинская, наш старый заклятый друг, и стала призывать голосовать против меня. «В секторе работает известный ревизионист Ильенков, а Лекторский его защищает, так он еще хуже, чем Ильенков, голосовать против Лекторского». Потом было голосование тайное, какое-то количество голосов против я получил, но прошел тем не менее.

Е.Т.: Этот вопрос кто решал?

В.Л.: Ученый совет. Но согласовал мою кандидатуру с разными инстанциями все-таки Копнин. Это было

его решение, я Копнина знал, он меня знал, Копнин был заведующим сектором, когда я пришел в аспирантуру института. Потом он уехал в Киев и стал там директором украинского Института философии, который он, по существу, создал, сделал его действительным центром новой философской мысли. Копнин был оппонентом у меня на защите кандидатской диссертации в 64-м году. А потом он пришел в наш институт. Он ставку делал на таких людей, как Ильенков и другие, ему важно было сделать меня заведующим сектором. Но еще за год до этого, в мае 68-го я стал членом редколлегии журнала «Вопросы философии».

«Вопросы философии», работа заводчиком и похвала Марковича

Е.Т.: А кто тогда был главным редактором?

В.Л.: Главным редактором в мае 68-го года стал Иван Тимофеевич Фролов, он меня, собственно, и пригласил в редколлегию. Но пригласил не случайно, потому что до этого у меня с ним тоже определенные отношения, так сказать, завязались, и завязались довольно интересным способом. В 66-м году вышла моя первая книжка — она была по кандидатской диссертации. Вскоре после этого к нам в Советский Союз, в Москву и Ленинград, приехал известный югославский философ (тогда еще Югославия существовала), которого звали Михайло Маркович. Маркович был известный человек, он серб из Белграда, и он выступал у нас в Институте философии, рассказывал о современной югославской философии. А в это время в Югославии возникла известная философская группа «Праксис». Люди из группы «Праксис» считали себя марксистами, они исходили из ранних работ Маркса и считали, что если исходить из ранних работ Маркса, то никакой теории отражения принимать нельзя, Маркс-де об этом не писал. Они писали также, что противоположность материализма и идеализма снимается (и Маркс действительно писал в ранних работах что-то похожее на это). Они считали также, что само словосочетание «диалектический материализм» изобретено не Марксом, а Плехановым и Лениным (так оно и есть, кстати). И поэтому путь развития, по которому пошла марксистская философия в Советском Союзе, — это не тот путь, который соответствует идеям Маркса. Нужно возвращаться к аутентичному Марксу, ранним работам его. Вот такая примерно сумма их идей.

Они стали издавать журнал «Праксис», международный журнал. Стали известны в разных странах мира. И вот там участвовал Маркович, хотя он сам серб, а этот журнал издавался в Загребе, в Хорватии, на базе хорватского философского общества, но в нем и сербы участвовали. Маркович был одним из самых активных деятелей этого движения. И когда Маркович выступил в нашем институте, Йово Элез (он у нас работал, он был эмигрантом из Югославии и читал работы Марковича и других деятелей «Праксиса», а мы не знали эти работы) говорит: «Пусть Маркович лучше нам расскажет, как он относится к теории отражения».



Маркович, конечно, вынужден был сказать: «Да, теория отражения — это неудачное выражение», что-то такое, и тогда все воскликнули: «Ага, это ревизионист к нам приехал!» — и стали его разоблачать.

Но тем не менее Маркович с нами, молодыми философами встречался, к Ильенкову ходил в гости, он очень высоко ценил Ильенкова. В Ленинград он ездил и там с кем-то встречался, и со мной он беседовал довольно долго. Я ему книжку свою подарил, подписал даже. Первый раз мы тогда с ним виделись, и Маркович уехал. Уехал и уехал.

Проходит месяца два-три. Я тогда часто ходил работать в Фундаментальную библиотеку общественных наук (ФБОН, предтеча ИНИОНа нынешнего). Она находилась тогда недалеко от нашего института, там, где сейчас находится Библиотека естественных наук Академии наук, переулочек такой. Раньше он назывался улица Энгельса, а как сейчас, я не помню. Вот я туда ходил, и у меня там был приятель-историк. Я с ним как познакомился: когда были в аспирантуре, нас посылали в колхоз кукурузу косить,

вот мы косили кукурузу с ним вместе. Он был аспирант в Институте балканистики и славяноведения, специалист по истории Югославии. Звали его Володя Волков (впоследствии он стал директором Института славяноведения и балканистики, членом-корреспондентом РАН, рано погиб, попав в автомобильную катастрофу). И вот я там встречаю однажды Володю, а он говорит: «Слушай, ты знаешь, какое событие произошло, с тобою связанное?» — «Какое событие?» — «А вот есть такой Михайло Маркович, известный югославский философ, он вернулся в Белград из поездки в Советский Союз и написал большую статью об этой поездке, статья его опубликована не в философском специальном журнале, а в популярном общественном еженедельнике, как „Огонек“ у нас, журнал „Нин“ (я даже помню название журнала). И Маркович в этой статье пишет о том, что в СССР интересные философы, и из всех философов он тебя особо выделяет, пишет, что твоя книжка на него произвела сильное впечатление. Да, но только имей в виду, что похвала ревизиониста, которым является Маркович, — это хуже всего! (*Смеется.*) И никому об этом не рассказывай».

Е.Т.: (*Смеется.*) Вроде бы надо радоваться, но никому лучше не говорить об этом.

В.Л.: Я никому и не сказал, это было дело в 67-м году. И вдруг какое-то время спустя раздается телефонный звонок в нашей квартире, а тогда это еще была коммунальная квартира, висел телефон в коридоре. Я взял трубку. «С вами говорит Иван Тимофеевич Фролов». А Фролов к этому времени стал помощником Демичева, а Демичев был секретарь ЦК по идеологии. «Владислав Александрович, я хочу, чтобы вы ко мне зашли в ЦК, поговорить надо». Думаю, ну ладно, зайду — я, конечно, не мог понять, зачем я понадобился Фролову. Я пошел в ЦК, там мне пропуск был уже выписан, зашел к Ивану Тимофеевичу. И Фролов мне рассказал, что Демичеву регулярно поступают закрытые материалы ТАСС, и в этих закрытых материалах информация об этой статье Марковича была, о том, что Маркович выделил меня из других советских философов, похвалил. Демичев вызвал Фролова и сказал: «Что это такое? Что там Лекторский пишет? Какой-нибудь идеалист, наверное. Вы разберитесь». Фролов говорит: «Я, конечно, почитал вашу книгу и доложил Демичеву, что это интереснейшая работа». Так вот я с Фроловым и познакомился.

Е.Т.: То есть Фролов вас отстоял?

В.Л.: Он меня отстоял, это раз. Во-вторых, мы с ним познакомились. Я и раньше его знал, но знакомство было чисто внешнее. Он раньше работал в журнале «Вопросы философии» когда-то, как редактор и ответственный секретарь, потом уехал в журнал «Проблемы мира и социализма» (Прага), там работал года два, а уже из журнала «Проблемы мира и социализма», когда вернулся в Москву, его взяли в помощники к Демичеву. Потом Иван Тимофеевич меня раз-другой приглашал к себе какие-то документы посмотреть для Демичева. Демичев был секретарем ЦК по идеологии, довольно либеральный был человек.

Он был ставленником Хрущева. Потом Демичева сняли с этого поста, слишком он казался либеральным нашим ортодоксам. Его тогда сделали министром культуры. Сейчас его в живых, наверное, уже и нет.

Однажды у Демичева какое-то было совещание в узком кругу, где были Афанасьев, Иноземцев (директор Института мировой экономики), Копнин, приехавший из Киева, и другие крупные деятели в области общественных наук. И вдруг меня тоже позвали — конечно, с подачи Фролова. Я был кандидатом наук, даже никаких постов не занимал, заведующим не был. И тем не менее я тоже оказался на этом совещании. Так что и с Фроловым у нас контакт налачился, и когда он в мае 68-го года стал главным редактором журнала «Вопросы философии» (сняли Митина с поста главного редактора, у него произошла скандальная история с плагиатом: может быть, вы знаете эту историю, не буду о ней рассказывать — он украл статью у покойного философа Стэна, которого посадили в 30-е годы. Митин статью Стэна опубликовал за своей подписью, Стэна уже не было в живых, но сохранились материалы, и, в общем, целая была история, Митину выговор не стали объявлять, поскольку был 67-й год — юбилей Советской власти, а Митин вроде бы старый партиец, но с поста главного редактора его тихонечко убрали), и Фролов стал главным редактором, сформировал новую редколлегию, и он мне предложил войти в эту редколлегию. Сам мне по телефону позвонил.

Я согласился и стал членом редколлегии, заведующим отделом диалектического материализма, все статьи

по общефилософской проблематике шли через меня. И вот я стал заведующим отделом, членом редколлегии, там тоже было интересно, Фролов тогда собрал просто революционную редколлегию: Мамардашвили сделал своим заместителем, включил в редколлегию Келле, Замошкина, Грушина, Зиновьева. Вот такая публика, которая для 68-го года была вполне революционной.

Но это было за несколько месяцев до ввода наших войск в Чехословакию, май 68-го года — это была Пражская весна. А потом ситуация кардинально стала меняться. Уже в 69-м году стало хуже, на Ильенкова наскоки начались. Но все равно Копнин даже в этой ситуации сумел сделать меня заведующим сектором.

” И так я против своей воли, не желая и даже не думая никогда об этом, стал каким-то философским начальничком, заведующим сектором, членом редколлегии и заведующим отделом «Вопросов философии». Тогда мне было тридцать шесть лет. До этого я жил тихо и спокойно, писал свои работы, с кем-то что-то обсуждал.

Е.Т.: И тут пришлось руководить начать.

В.Л.: Пришлось не просто руководить, а пришлось защищать все время, потому что это были годы, когда шли идеологические нападки на всех, кто пытался думать.

Про Ильенкова я уже рассказывал. А вот что было с Копниным. Когда он стал директором нашего института, он попытался институт реформировать, что-то сделать положительное, тем более что он до этого почти десять лет был в Киеве, и ему там удалось радикально реформировать украинский Институт философии, и он думал, что, может быть, и в Москве у него получится сделать нечто похожее. А в Москве была совсем другая ситуация. Люди, которых он хотел выгнать из московского института, имели связи колоссальные — у той же Модржинской, например, они были большими, — они сами могли кого угодно выгнать и даже посадить. Но Копнин, видимо, не учел, так сказать, сложности этой ситуации. И плюс у него еще враг появился в лице Константинова, бывшего директора, который стал к этому времени академиком-секретарем Отделения философии и права АН СССР, который травил Копнина постоянно, в частности, устроил травлю, когда вышла книжка Копнина, году в 69-м, «Логика и философские идеи Ленина». Устроили трехдневное обсуждение этой книжки в Отделении философии и права. Константинов собрал врагов Копнина со всего Советского Союза, в том числе с Украины, где на Копнина были смертельно обижены те, кого он выгнал из киевского Института философии.

” Копнин осмелился написать в этой книжке, в частности, что философия занимается человеком, что человек — это центральная проблема философии. Казалось бы, ну что такого страшного он написал? А на заседании у Константинова раздали обвинения, в частности со стороны Митина: «Это же абстрактный гуманизм! А где классовый подход? Какой человек?! Есть буржуа, есть пролетарии, люди-то все разные».

А я тоже выступил и сказал, обращаясь к Митину: «Марк Борисович, ну хорошо: нет, как вы считаете, общей проблемы человека, а есть только проблема пролетария, буржуа, но вот скажите, основной вопрос философии кого касается — пролетариев или буржуа? Или он ко всем относится? Это ведь относится к любому сознанию, независимо от его классовой принадлежности. Вы считаете, что это не так, да?» Он заерзал, ничего не мог мне ответить. Вот такими демагогическими приемами я пытался сбить эту публику...

Потом вышла книжка не самим Копниным написанная, а подготовленная во время его руководства

институтом, написанная отделом исторического материализма, под редакцией Келле. Там была статья Батищева и статья Примака, который тоже работал тогда в отделе Келле. А Батищев написал статью в том духе, в каком тогда он писал, он был сторонник раннего Маркса, писал о революционно-критической сущности человеческой деятельности в духе раннего Маркса. И там такие у него были высказывания (в духе Маркса): «критическая деятельность — для нее нет никаких авторитетов, она ни перед чем не останавливается», — сам Маркс писал что-то подобное. И Батищев все это воспроизвел. Какой-то умник взял эту статью Батищева, подчеркнул фломастером места в тексте, где говорилось о том, что нет авторитетов, и послал Суслову. Суслов был секретарем ЦК по идеологии: «Как нет авторитета?! А Политбюро, ЦК КПСС, партаппарат, что, это разве не авторитет?!» Суслов был просто в бешенстве. Он потребовал обсудить эту книжку и осудить ее. Эту книжку стали обсуждать тоже.



Не просто книжку обсуждали, а обсуждали и осуждали Копнина, он же директор Института философии, а при нем такие книжки выходят. Это уже было дикое обсуждение совершенно. Тоже дня два оно длилось.

Батищев у меня в секторе был, я заведующий, и я пишу записочку в президиум: «Дайте мне слово, сейчас я что-нибудь скажу». А мне слова не дают. Кончилось обсуждение, осудили Батищева. Даже вынесли решение рассмотреть вопрос о возможности работы Батищева в институте. Так что заведование сектором, это не сладкий хлеб. (*Смеется.*) Особенно в те годы это было.

Е.Т.: А сколько у вас тогда было сотрудников?

В.Л.: Да немного, человек десять, может быть. И когда кончилось все это обсуждение, я подошел к Копнину: «Павел Васильевич (а он тоже был там, среди тех, кто вел заседание), что же мне слово не дали?» Я на Копнина обиделся, а он говорит: «Ты ничего не понимаешь, если бы я тебе дал слово, ты бы начал защищать Батищева, и кончилось бы тем, что и Батищева бы выгнали из института, и тебя бы выгнали с поста заведующего. А так ты вроде не выступил, и сейчас мы это дело тихо-тихо спустим на тормозах». Так он и сделал. Мы собрали после этого заседание в секторе и сказали Генриху: «Генрих, занимайся методологией, не суйся в политику». И все, и разошлись. Батищев остался работать.

Так что Копнин делал очень много хорошего, но сам оказался в сложном положении. Его затравили, в итоге в 49 лет он умер, заболел тяжело — рак у него появился, и он сгорел буквально за два-три месяца. И он был директором института года два с половиной всего. Так что это была такая полоса очень сложная, когда я стал заведующим сектором и членом редколлегии, тут всякие начались события в институте.

Дальше еще хуже, потому что пока был Копнин, он поддерживал меня и наш сектор, а когда Копнин умер, года два были исполняющие обязанности директора института, потом назначили Кедрова Бонифатия Михайловича директором, до этого он был директором Института истории естествознания и техники АН СССР. А Кедров такой же человек-реформатор, как и Копнин: надо что-то менять, улучшать, он понимал, что ситуация в философии неудовлетворительная. И у меня с ним прекрасные были отношения. Кедров не пробыл директором даже года, потому что после десяти месяцев его пребывания на посту директора (он пытался кое-что изменить, но ничего не получилось у него) назначили комиссию ЦК КПСС по проверке работы института. Кедров понял, что его просто снимут, и сам подал заявление и ушел. И вернулся к себе в Институт естествознания и техники, но уже не в качестве директора, а в качестве заведующего сектором. Где он и работал до конца своих дней.

А как только Кедров ушел из нашего института, комиссия ЦК КПСС стала работать: назначили новым директором Украинцева Бориса Сергеевича. И тут началась уже другая полоса, не то, что было до этого. До этого даже когда Константинов был директором, все-таки более-менее были с ним отношения хорошие, потом был Копнин, который нас поддерживал, потом Кедров был, который нас поддерживал тоже. А тут пришел человек, который должен был почистить институт и выгнать всех людей, кто мало-

мальски пытался думать. Украинцев был долго директором: девять лет. До этого директора обычно дольше трех-четырех лет не задерживались: либо шли на повышение, либо их снимали. А этот сидел почти десять лет. И вот при нем нам было очень тяжело, потому что у Украинцева была задача (как я потом выяснил и как мне объяснили знающие люди): разогнать два сектора — исторического материализма и диалектического материализма. Во главе одного я заведующий, а во главе другого был Келле. Вот с Келле они справились, разогнали его сектор. Келле ушел из института, а с нами они справились не до конца, так сказать, но частично преуспели.

Е.Т.: А кто же оставался бы тогда, если бы разогнали истмат и диамат?

В.Л.: Они не собирались уничтожать сами сектора, им нужно было снять Келле и меня с заведования, каких-то людей выгнать, состав секторов поменять, может быть, даже раздробить существовавшие сектора на какие-то части (что потом они и сделали, кстати) и поставить других людей, для них более удобных. Такие же люди были в институте, они всегда были.

В общем, объективно, не желая, конечно, этого, этому поспособствовал бывший тогда моим заместителем Борис Дынин, который сделал глупость величайшую. Он решил уехать на Запад под видом отъезда в Израиль (в Израиль он так и не поехал, а поехал в Америку сразу). В те годы, это уже 74-й год был, некоторые люди, уезжая, сначала уходили с работы, а потом подавали заявление, что хотят уехать. А он сначала подал заявление о поездке в Израиль, оставаясь сотрудником Института, и только потом, когда его выгнали, ушел из института. Он нас подставил. А тут как раз были люди, которые хотели разогнать наш сектор, были против Копнина и против Кедрова настроены, и наш друг Дынин создал хороший предлог. Меня вызывают в партбюро и просят в письменном виде дать ответ на вопросы, а всего вопросов пятнадцать.

”

Ну такой вот, например, был вопрос: «Почему вы назначили именно Дынина своим заместителем?» Он неплохо, кстати, работал в этом качестве. Я написал: «Потому что я знал, что он вскоре уедет в Израиль». Ну, что еще можно ответить на идиотский вопрос?

Дело в том, что за спиной Украинцева и всей этой публики стоял некто Ягодкин. Этот человек был в те годы секретарем по идеологии Московского городского комитета партии. Он рвался к высшей идеологической власти в стране, ему нужно было создавать такие дела вокруг себя. И он как раз был одним из организаторов этого дела в связи с отъездом Дынина. Меня вызвали на партийное бюро Института. На этом бюро, в общем, довольно гнусно было; потом было партийное собрание. Было два предложения: первое — за то, что я не проявил бдительность, вынести выговор с занесением в личное дело; второе — вынести выговор без занесения в личное дело. Если с занесением в личное дело, то это значит, что мое дело потом идет в райком партии, и тогда можно и исключить из партии, а человек, исключенный из партии, в те годы как бы умер: он тогда и работу теряет, и почти все в жизни, а если выговор без занесения, то это гораздо легче. Меня тогда многое удивило: на собрании было открытое голосование, и ряд людей, которых я лично знал, и мне казалось, что они хорошо ко мне относятся, почему-то голосовали за то, чтобы выговор занести в личное дело (такие были в том числе и из нашего сектора, не хочу называть их), но все-таки вынесли мне выговор без занесения. Поэтому мое персональное дело не было передано в райком партии. Я тогда был заместителем секретаря партбюро института. Мне сказали: «Напиши заявление, что ты отказываешься быть замсекретаря». Я написал.

А потом наш сектор оказался в подвешенном состоянии, то есть мы работали в 74-м, 75-м и 76-м году и ждали, когда же нас разгонят. Подготовили книжку коллективную, в которую Ильенков дал статью «Проблема идеального». У него была статья на эту же тему, опубликованная ранее, года за четыре до этого, «Идеальное» называлась, он опубликовал ее в «Философской энциклопедии». Уже тогда было целое событие. А тут он на основе старой статьи написал совершенно новый текст. Я сравнивал статью

«Идеальное» в «Философской энциклопедии» со статьей «Проблема идеального», которую Ильенков написал позже, для книги нашего сектора, основные идеи те же самые, но это совсем другой текст. Если на плагиат проверять, то в новом тексте нет ни одной фразы, имеющейся в первом тексте. Ученый совет института нашу книжку должен либо принимать, либо не принимать. Кто-то по заданию Украинцева заявил: «Статья Ильенкова идеалистическая, антимарксистская, статью не печатать, книжку не публиковать». И тут Модржинская, наш заклятый друг: «Прошу поставить вопрос о возможности расформирования сектора». Это 76-й год был.

Е.Т.: Она тогда еще была заведующей?

В.Л.: Она уже не была заведующей. Она мстила за то, что ее сняли в свое время с поста заведующей.

Е.Т.: Но она работала в институте?

В.Л.: Работала в институте в каком-то другом секторе, но все равно была воинствующим человеком. Ну так вот. Книжку, значит, не принимают.

О Б.С. Украинцеве

Итог первой части: я в этой части нашей беседы рассказал, как я вырос, как я учился в школе. Как я в послевоенные годы учился в Москве на философском факультете. Как окончил факультет, поступил работать в Институт философии в послесталинские годы. И это уже была не эпоха сталинизма, потому что людей не сажали, не расстреливали пачками, но с публикациями было сложно, вот я привел пример с Ильенковым, потом я другие подобные примеры приведу. Я рассказал, как пришел Украинцев к власти в институте. Хронологически мы дошли до середины 70-х годов. Один из самых мрачных эпизодов развития института связан с тем периодом, когда Украинцев Борис Сергеевич был директором, а он был директором девять лет.

Е.Т.: А он откуда пришел?

В.Л.: Он где-то на партийной работе был, сам он был по образованию, по-моему, инженером. Потом кончил Академию общественных наук при ЦК КПСС в послевоенные годы. А потом поступил работать в Институт философии в отдел «Философские проблемы естествознания» и занимался философией физики и теорией информации.

Е.Т.: Философом он не был изначально?

В.Л.: Потом стал философом, защитил кандидатскую работу по философии. Потом его пригласили работать в ЦК КПСС, в отдел науки, он там работал какое-то время, а потом вернулся в институт и работал в отделе «Философские проблемы естествознания» довольно тихо.

Могу сказать, что раньше у меня с ним были неплохие отношения. Я помню, как в 73-м году был Всемирный философский конгресс в Болгарии, в городе Варна, я там выступал на пленарном заседании (болгары удружили). Я там с Украинцевым встречался, он ко мне подошел и сказал, как ему понравился мой доклад, какие-то комплименты мне говорил. И никаких проблем не было. А потом Украинцев неожиданно стал директором института. Позже я узнал, что он был поставлен по личному указанию Трапезникова, заведующего отделом науки ЦК КПСС, который знал Украинцева хорошо. Он был не просто поставлен, а был поставлен с заданием разобраться с еретиками всякими и ревизионистами, которых стало много в Институте философии.

Е.Т.: Вроде Лекторского?

В.Л.: Ну меня лично, может быть, и не называли (а может быть, называли), но в институте с точки зрения идеологического начальства вообще таких было немало: Ильенков, Батищев и другие. То есть Украинцев как бы выполнял задание. Может быть, лично против меня ничего и не имел. Но ситуация обернулась так, что он стал врагом и сектора, и моим личным.

Потом я расскажу более детально, какие в институте развернулись события после его прихода. Сейчас я рассказал о начальном этапе его деятельности. В эти годы большие перемены происходили в нашей философией. До 68-го года были большие надежды и в обществе в целом, и в философии: казалось, что все будет лучше, были надежды на науку, на научно-техническую революцию. А когда наши войска вошли в Чехословакию, слом произошел, и многие поняли, что надеяться не на что, что улучшения идейного не будет. Кто-то сломался, кто-то ушел из философии, в том числе ряд моих друзей. И у Ильенкова был большой слом в конце жизни, депрессия. И это все было в годы директорства Украинцева. А потом Украинцева в конце концов сняли с поста.

Е.Т.: А у власти в это время кто был?

В.Л.: Брежнев. А когда Украинцев перестал быть директором, это уже было в 83-м году, после этого он в институте редко появлялся, жил на даче. Потом однажды он приходит в институт, и я ему попался навстречу, он меня стал обнимать: «Как мы давно не виделись, как я рад вас видеть». Всяческий восторг мне стал выражать. Вот такая интересная жизнь. Но пока был директором, он нас изводил. Ясно, что он не сам по себе это делал, он функцию некую выполнял, партийное задание, он выполнял его как понимал и реально играл роль злодея. Хотя лично против меня, возможно, ничего не имел.

Е.Т.: Как говорится «человек подневольный» он был.

В.Л.: Называется «ничего личного». Такая жизнь была у него, и она заставляла вести себя определенным образом.

Текст авторизован.

В публикации использована иллюстрация с сайта zinoviev.org.